

В. А. ЖУКОВСКИЙ

Его жизнь и литературная деятельность



Жуковский

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [В. В. Огарков](#)
 -
 - [Глава I. Ранние годы](#)
 - [Глава II. Благородный пансион, служба и литература](#)
 - [Глава III. Известность поэта и почести](#)
 - [Глава IV. Поэзия и обязанности](#)
 - [Глава V. Жуковский в обществе и дома](#)
 - [Глава VI. Последние годы жизни](#)
 - [Глава VII. Значение Жуковского как поэта](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
-

В. В. Огарков
В. А. Жуковский. Его жизнь и
литературная деятельность
Биографический очерк
с портретом В. А. Жуковского,
гравированным в Лейпциге Геданом



Жуковский

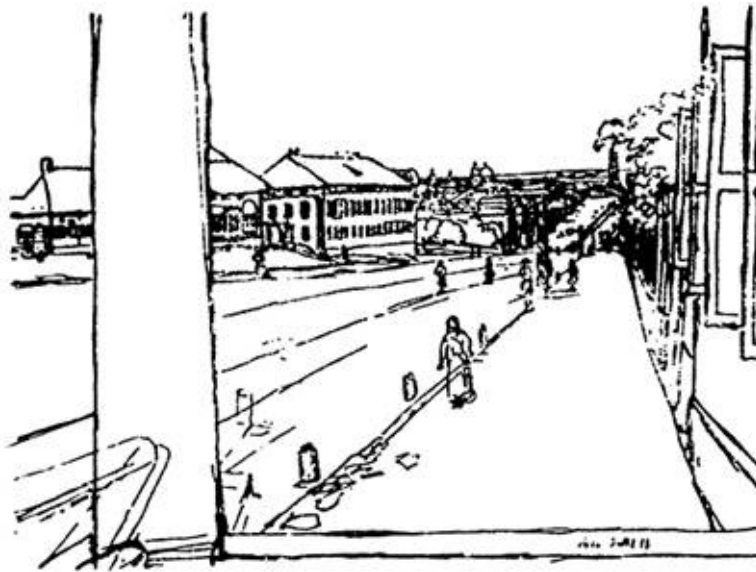
Глава I. Ранние годы

Светлая личность Жуковского. – Его рождение. – Турчанка Сальха и Бунин. – Раздор и примирение Буниных. – Васенька – любимец семьи. – Помещичья жизнь в прошлом. – Феодалы и вассалы. – Обстановка, окружавшая Жуковского в детстве. – «Родимые поля». – Среди женщин и девочек. – Молодое и восторженное общество Мишенского. – Первые опыты учения. – «Вральман». – Пансион Роде. – Народное училище. – Дом Юшковых в Туле. – Первый опыт в драматургии. – Симпатичная наружность поэта. – Его военные похождения. – Поездка в Петербург. – Зимний дворец. – Жуковского определяют в Благородный пансион в Москву

Есть такие имена в литературе, которые, сияя кротким лучезарным светом, привлекают к себе всех и редко в ком способны возбуждать отрицательные чувства. Чем-то мирным, поэтическим веет от носителей этих имен; при воспоминании о них смолкает злоба и верится в добро, счастье и красоту.

Одно из таких симпатичных имен в русской литературе – Жуковский, милый «певец „Светланы“, автор первых романтических баллад на Руси, светлые поэтические мечтания которого будили столько чистых грез в юношеских сердцах и жизнь которого, несмотря на окружавшие его могучие искушения, была так же прозрачно-чиста, как и его задушевные элегии. Если с именем Лермонтова соединяется представление о бурной, неудовлетворенной мысли, изливавшейся в грозных упреках судьбе и людям, в „стихе, облитом горечью и злостью“, то, наоборот, лира Жуковского звучит кроткими, незлобивыми звуками, мирной, уравновешанной любовью к людям и природе. Если и слышится в звуках этой лиры скорбь, то скорбь не титаническая и бурная, а такая же тихая и меланхолическая, как звуки „эоловой арфы“, воспетой поэтом. В его поэзии нет ни гордых вызовов небу, ни ядовитых проклятий истории: поэт со страниц своих произведений смотрит на нас с кроткой улыбкой. И вы, познакомившись с искренностью певца, почувствуете невольную симпатию к нему за то, что его „сладкие звуки и молитвы“ раздавались в тяжелую пору русской истории, умиляя сердца и возбуждая гуманные чувства тогда, когда кругом все было грубо и сострадание в людях дремало.

Василий Андреевич Жуковский был сыном помещика Афанасия Ивановича Бунина и турчанки Сальхи, взятой в плен при штурме крепости Бендеры. Поэт родился 29 января 1783 года в селе Мишенском, в Тульской губернии, в трех верстах от города Белева. Восприемником его был дворянин Андрей Григорьевич Жуковский, живший у богатого Бунина. Он усыновил ребенка и дал ему свое имя.



Тула. Рисунок В.А. Жуковского

Читатель будет прав, если в рассказанном увидит не совсем благоприятное обстоятельство для душевного настроения поэта, и не будет большой ошибкой предположить, что многие элегические ноты поэзии Жуковского обязаны тому факту, что мать его являлась рабыней в доме, ставшем сыну родным. И та глубокая потребность ласковых, задушевных отношений, жившая всю жизнь в сердце поэта, – потребность, выражением которой служили его искренние и трогательные стихотворения, – являлась естественным следствием того, что в нежном детском возрасте, когда душа просит материнской ласки, свободные проявления сыновнего чувства были стеснены.

Кроме того обстоятельства, что мать Жуковского, пленная турчанка, была рабыней и в присутствии «господ», к числу которых относился и ее собственный сын, не смела садиться, все, казалось, сложилось хорошо для будущего поэта в ранние годы его жизни. Бунин, по рассказам знавших его, был добрый и хороший человек. Жена Бунина, Марья Григорьевна,

урожденная Безобразова, кроткая и умная женщина, являлась в окружавшей ее среде сравнительно развитым человеком, что доказывалось и тем образованием, которое она сумела дать, несмотря на невыгодные для этого тогдашние условия, своим дочерям и Жуковскому. Сам Бунин, очевидно, тоже не был из породы Митрофанушек – весьма распространенного типа того времени. Достаточно сказать, что единственный горячо любимый сын Буниных учился в университете в Лейпциге, где и умер в 1781 году. Потеря любимого сына, при отсутствии надежды иметь наследника в будущем, явилась причиной того, что Марья Григорьевна привязалась к чужому ей мальчику и перенесла на него те ласки, которые доставались прежде ее собственному сыну.

О появлении Сальхи в доме помещика Бунина существует следующий рассказ. Во время румянцевских походов против турок на войну отправлялись как мещане города Белева, так и крестьяне из вотчин Бунина. Старик сказал в шутку пришедшим к нему проститься перед отправлением на войну крепостным:

– Привезите мне хорошенькую турчанку: жена моя совсем состарилась!

Это было принято всерьез, и к барину привезли двух турчанок, родных сестер, попавших в плен при взятии крепости Бендеры. Муж молоденькой Сальхи был убит при штурме, а сестра ее Фатима умерла вскоре по прибытии в Мишенское. Красивую и ловкую Сальху определили няней к маленьким дочерям Бунина, Варваре и Екатерине, которые и учили ее говорить по-русски.

Хотя жены помещиков привыкали к вольностям своих мужей по части женщин и должны были зачастую безропотно сносить существование при своих властелинах целых гаремов, но все-таки появление в Мишенском хорошенькой турчанки и несомненное расположение, оказываемое ей Афанасием Ивановичем, внесло раздор между супругами, так что старику Бунину пришлось поселиться в соседнем флигеле, где жила Сальха и куда был запрещен вход молодым девицам, дочерям Марьи Григорьевны. Но к чести последней нужно сказать, что она скоро сменила гнев на милость, и когда родился у Сальхи мальчик – будущий поэт, Марья Григорьевна, потерявшая своего единственного сына, привязалась к ребенку. Крестной матерью родившегося была дочь Бунина, впоследствии вышедшая замуж за Юшкова, Варвара Афанасьевна. С дочерьми ее у поэта всю его жизнь существовали близкие дружеские отношения.

Старики помирились. Их, вероятно, снова сблизило появление в доме этого ребенка, на котором они сосредоточили свои ласки и заботы.

Маленький Васенька сделался любимцем семьи: его окружили целым штатом прислуги, он стал «господское дитя», в силу уже этого отгороженное стеною даже от своей матери, которая только урывками могла дарить ему свои ласки. Патриархальные нравы не исключали возможности подобных жестких явлений: слишком сильны были кастовые различия, чтобы даже во имя гуманности можно было забыть о них окончательно. В таких отношениях выражалось (в более, конечно, слабой степени) то же самое чувство, которое проявлялось у браминов, предпочитавших смерть «нечестивому» прикосновению к парию.

Немало было привлекательного и поэтичного в старинной помещичьей жизни, в особенности с точки зрения лиц, принадлежавших к этому привилегированному барскому кругу. Самый уже контраст между феодалом-помещиком и покорными ему вассалами-крепостными, которых он был безграничным властелином, представляется интересным и способствовавшим проявлению так называемых «рыцарских чувств» со стороны феодалов. Не всегда, разумеется, видели в таком порядке отраду вассалы; но нельзя отрицать и того, что в частных случаях общий фон картины значительно скрашивали патриархальные отношения между помещиком и крепостными. Со стороны барина эта патриархальность не исключала, однако, возможности применения отеческих мер, а со стороны холопов – примерной преданности и благодарности. Эта преданность являлась весьма естественным последствием той вековой дрессировки, которой подвергалась крестьянская масса и которая порождала явления, вызвавшие горькие слова покойного поэта «мести и печали»:

Люди холопского звания —
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказание, —
Тем им милей господа...

Все эти условия помещичьей жизни были налицо и в истории нашего поэта, но в более смягченной форме. Его раннее детство прошло в богатом, огромном барском доме с толпой прислуги и челяди. Были тут и терпеливые няни, вроде знаменитой няни Пушкина, способные положить душу и жизнь свою за питомцев; были и бесшабашные дворовые «лодыри»... Огромный сад шумел своими вековыми деревьями, и, может быть, там, в тени его, неясно созревали те поэтические вдохновения мальчика, которые потом вылились в чудесных стихах. В саду были садки,

пруды, оранжереи, теплицы; недалеко росла дубовая роща, по долине бежал ручеек, из дома и сада виднелись луга и нивы, село с церковью, – манили просторные дали... В этой обстановке проходило детство поэта, и впечатлительный мальчик сохранил в душе на всю жизнь воспоминание о колыбели своего детства – взлелеявшей его родине... Кто не помнит этой трогательной дани «родимым полям» хотя бы в следующих стихах:

...Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки, —
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая, —
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Перебирая все те условия, которые с детства питали музу Жуковского и забрасывали в его душу поэтические семена, давшие впоследствии обильную жатву, нужно остановиться на следующем обстоятельстве. Все детство, отрочество и юность поэт провел среди девочек, со многими из которых у него на всю жизнь сохранились задушевные отношения. Это были его племянницы, дети дочерей Марьи Григорьевны. Особенно Жуковский был дружен с девочками Юшковыми, из которых одна – впоследствии Анна Петровна Зонтаг – стала известной писательницей. Несколько позже особенная дружба связывала его с Марьей Андреевной Протасовой, к которой поэт питал восторженную привязанность; но роман с нею был неудачен, и это наложило несколько новых элегических штрихов на поэзию Жуковского. Окруженный этими Друзьями, из которых некоторые отличались чуткостью и восторженностью, убаюкиваемый их нежными заботами и попечениями, поэт рано взрастил в себе то отчасти сентиментально-платоническое уважение к женщине, которое было так свойственно и многим героям его баллад и элегий. Это молодое и восторженное женское общество являлось постоянной аудиторией поэта: ей он поверял свои вдохновения, ее одобрение служило для него критической меркой, а восторг, с которым встречались ею творения юноши, – наградой. Вся эта ватага молодежи бегала по саду, полям и лугам; среди помянутого общества в разнообразных и живых играх невольно

возбуждалось воображение, совершался обмен мыслей и укреплялись симпатичные связи. Стоит прочесть письма поэта к ставшим взрослыми членам этого детского кружка, – письма, исполненные нежной дружбы и, до самой старости Жуковского, какой-то трогательной скромности, – чтоб видеть, насколько сильны у него были связи с друзьями детства, а также и чистую, голубиную душу поэта. Укажем здесь кстати и на то, что упомянутый выше девственный ареопаг с ранних лет направлял Жуковского на путь девственной, целомудренной лирики.

К шестилетнему Васеньке Афанасий Иванович выписал из Москвы «немца», которого вместе с воспитанником поместили во флигеле. Но этот первый опыт учения окончился неудачно. Немец оказался из породы вральманов и считал главными педагогическими пособиями розги, практикуя, кроме того, над воспитанником порою и тяжелую пытку, весьма, впрочем, употребительную в учебном обиходе прошлого: ставил питомца голыми коленями на горох. Но любимец всего дома поднимал страшный крик при применениях этого воспитательного артикула, и «вральмана» быстро убрали. Попыты крестного отца, Андрея Григорьевича, по части привития мальчику учености тоже были не особенно удачны: Васенька вместо букв рисовал грифелем на доске, а также и мелом на полу и стенах разные фигуры и «рожи». Мы упоминаем об этом обстоятельстве с целью указать, что еще в раннем детстве Жуковский обнаружил талант к живописи и впоследствии, как известно, недурно рисовал; его акварели, а также и картины, писанные масляными красками, хранятся у его родственников и друзей.

С этими детскими рисовальными упражнениями поэта связан случай, о котором считаем нелишним упомянуть, так как Васенька в нем явился героем, переполошившим всю девичью; этот эпизод, с другой стороны, указывает на религиозность того общества, где провел юношеские годы поэт, что, в свою очередь может служить объяснением искренней религиозности самого Жуковского, не оставлявшей его всю жизнь. Раз пятилетний Васенька, оставшись в девичьей один и усевшись на полу, принялся срисовывать образ Божьей Матери. Никто этого не видал, а сам рисовальщик, сделав рисунок, пошел к Марье Григорьевне. Возвратившиеся служанки с испугом и благоговением смотрели на изображение иконы. Они побежали к барыне и объявили о чуде. Однако Марья Григорьевна, увидев запачканные мелом руки Васеньки, догадалась, в чем дело, и разрушила иллюзию чудесного.

К этому времени Бунины переселились в Тулу. Там мальчика стали посылать в пансион Роде, а на дом взяли ему репетитора. Однако занятия

шли не особенно успешно. Вскоре отец Жуковского скончался (в марте 1791 года), поручив сына заботам жены, которая свято сдержала данное мужу обещание. Считаю нелишним отметить гуманное и честное отношение Марьи Григорьевны к питомцу и его матери-турчанке, что указывает на Бунину как на добрую и симпатичную женщину. Из доставшихся дочерям Марьи Григорьевны средств она отделила у каждой по 2500 рублей, и эти деньги составили капитал Жуковского.

Осенью этого же 1791 года мальчик поступил к Роде полным пансионером, но это его не отрывало от семейного кружка, к которому он привязался: мальчика часто брали домой, а весной все переезжали в деревню, где оставались до осени, наслаждаясь вволю деревенским раздольем.

После пансиона Роде Жуковский учился в народном училище, где, однако, тоже не особенно отличался и откуда был даже исключен за «неспособность». Замечательно, что многие наши писатели, прославившиеся впоследствии как оригинальные мыслители и художники, оказывались, по мнению педагогов, «неспособными» в школе. Вероятно, в этом сказывалось отсутствие интересного в преподававшихся науках, не укладывавшихся в живые души воспитанников, а с другой стороны, – и неспособность педагогов подметить дарования в учениках.

Французским и немецким языками Жуковский занимался Дома, вместе со своими родственницами. Тут и было положено основание тому прекрасному знанию языков, которым впоследствии отличался поэт и которое дало начало его литературной известности.

Дом Юшковых, где жил в отроческие годы Жуковский, считался одним из интеллигентных домов в Туле. Сама Варвара Афанасьевна Юшкова, по отзыву в «Записках» Болотова, была «боярыня молодая, очень умная, любопытная и ласковая». Отличаясь музыкальными дарованиями, она устраивала у себя литературно-музыкальные вечера, где собиралось большое общество; здесь пелись новейшие романсы, читались только что появившиеся произведения тогдашней, правда, убогой, русской литературы и игрались спектакли. Здесь-то, в обстановке, способствовавшей раннему умственному развитию, возникли впервые в душе Жуковского те художественные стремления, которые были так естественны для его изящной натуры. Здесь, в доме своей крестной матери, поэт в 12-летнем возрасте выступает уже в качестве драматурга. Он написал пьесу «Камилл, или Освобождение Рима», где взял себе главную роль. Эта пьеса была приготовлена к приезду его приемной матери, Марьи Григорьевны, которая осталась очень довольна выдумкой мальчика. Жуковский удостоился

шумного одобрения. В указанном обстоятельстве можно было уже до известной степени видеть предзнаменование дальнейших успехов поэта на литературном поприще.

Самая наружность Жуковского в детстве тоже обещала в нем незаурядного человека. По рассказам знавших его, он был мальчик ловкий и стройный. Из-под черных ресниц блистали умом большие карие глаза, черные брови резко выделялись под большим лбом. Густые, длинные черные волосы вились по плечам. Приятная улыбка, оживленное румянцем лицо, какая-то особенная мечтательность во взгляде – все это вместе с симпатичным и добродушным характером привлекало к мальчику. Нужно заметить, что все эти качества и впоследствии действовали притягательно на знавших поэта.

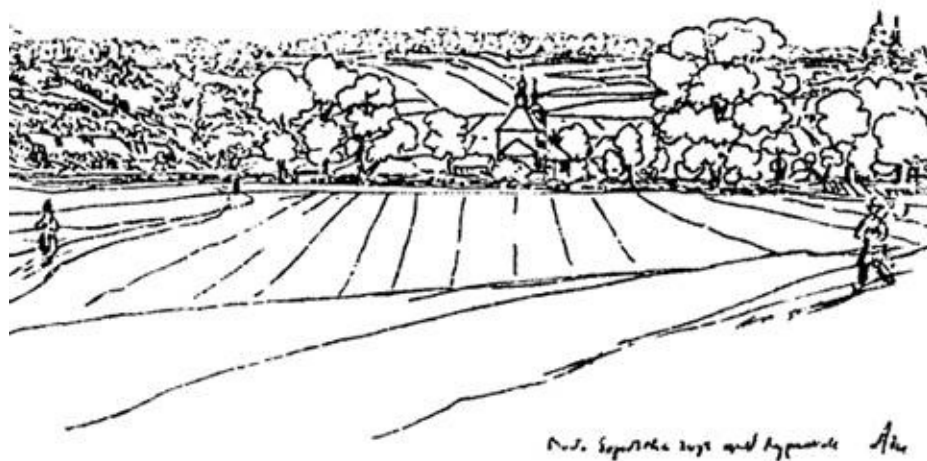
Как многие дворяне того времени, Жуковский был приобщен и к военному делу. Еще ребенком он был записан в гусарский полк сержантом, а в 1789 году произведен в прапорщики и даже принят (конечно, на бумаге) в штат генерала Кречетникова младшим адъютантом, что являлось весьма быстрой карьерой для Жуковского, которого, впрочем, вскоре отставили от службы «по прошению», «без награждения чином». Такой странный послужной список миролюбивого поэта не должен удивлять нас по отношению к обильному всякими чудесами тогдашнему времени. Тогда было привилегией дворян записываться в военную службу и повышаться в чинах, иногда до довольно высоких рангов, мирно качаясь в люльке или играя в лошадки под присмотром няnek в детской.

Неудачное учение Жуковского, а также и традиции того времени, считавшие военную службу самой почетной для представителей высшего сословия, заставили родных Жуковского вновь подумать о его уже действительном определении в какой-нибудь полк. В этом взялся помочь знакомый родственников поэта майор Постников. Мальчика одели в мундир и отправили с майором в Петербург. Здесь поэт стал свидетелем зрелища, воспоминание о котором надолго удержалось в его памяти. Ему достали в Зимнем дворце, на хорах, во время большого выхода место, откуда он в первый и последний раз в жизни увидел императрицу Екатерину II и ее блестящий двор. Может быть, к этому моменту, поразившему живое воображение мальчика, относятся строфы из известного стихотворения «Царскосельский лебедь», в котором поэт изображает как бы себя:

Но не сетуй, старец, пращур Лебединый,
Ты родился в славный век Екатерины!

Но Жуковскому не пришлось быть военным на этот раз: воцарившийся вскоре Павел I, как известно, отменил прием в войска малолетних. Мальчик пробыл с Постниковым в Кексгольме, среди военных, два месяца и затем вернулся в Тулу. Все-таки за время этой поездки с майором ему привелось наблюдать несколько любопытных военных эпизодов; так, он видел «бога войны» Суворова, которого встречали пушечной пальбой с бастионов крепости.

Наконец после этого неудачного опыта попасть в военные, – совсем неподходящее назначение для мирного любимца «муз и граций», – Жуковского определили в 1797 году в Москву, в Благородный университетский пансион, бывший привилегированным заведением для тех дворян, которые не считали образование лишним бременем для представителей высшего сословия. Это заведение при старейшем русском университете дало, как известно, для того бедного образованными людьми времени более или менее известных деятелей. В жизни Жуковского оно имело важное значение. Вопросы, таившиеся в талантливой натуре отрока, могли найти здесь, при общении с товарищами, при слушании курса наук, среди интеллигентного общества, желаемые ответы. С этим поступлением в Благородный пансион началась новая полоса в жизни поэта. Но эта новая полоса не изгладила в душе старых впечатлений. Ранний период жизни Жуковского, среди раздолья природы, среди милых сердцу детей, «золотые игры» с которыми, при свойственной мальчику мягкости и сердечности, – были так ему дороги и светлое воспоминание о которых сохранилось на всю жизнь, – оставил неизгладимые черты в душе поэта. Того, что пленило его сердце и с чем оно сжилось как с родным и необходимым, не могла заглушить более живая умственная жизнь, в которую поэт окунулся в Москве. В этом прошлом все было дорого: «холмы, поля родные», милые товарищи «золотых игр» и даже минувшие печали, светлая меланхолия которых сквозит в прекрасных песнях Жуковского и при воспоминании о которых так томительно-сладостно сжималось его сердце... И мы недаром видим, что всю последующую жизнь поэта мечта его во многих произведениях летит к этому прекрасному минувшему, к очаровательному прежде... Во многих письмах Жуковского к товарищам ушедших дней звучат захватывающая искренность и любовь к былому, ясно указывающие, как дорога была поэту пролетевшая дивным сном ранняя пора жизни...



Воробьевы горы. Рисунок В.А. Жуковский

Глава II. Благородный пансион, служба и литература

Обилие наук в пансионе. – Сушь и схоластика преподавания. – «Собрание воспитанников пансиона». – Организация заседаний и предметы занятий. – Задатки религиозности у Жуковского. – Семья Тургеневых. – Первые печатные опыты. – Знание языков. – Заработок переводами. – Служба в соляной конторе. – Выход в отставку и жизнь в Мишенском. – Заботы о самообразовании. – Русская литература того времени. – «Девственный ареопаг» Мишенского. – «Сельское кладбище». – «Парнас» и «Зевс». – Успех «Сельского кладбища». – Субъективное в поэзии Жуковского. – Семья Протасовых. – Белев и занятия с Протасовыми. – Завязка печального романа. – Мерзляков. – Карамзин. – Приглашение Жуковского редактором «Вестника Европы»

В Благородном университетском пансионе, куда поступил Жуковский, преподавалось бесчисленное количество всевозможных наук; в программу входили даже такие предметы, как артиллерия, мифология и «сельское домоводство». Но, конечно, это обилие предметов делало только то, что воспитанники большей частью ничего не знали, и наш величайший поэт имел полное право сказать про тогдашнее учение:

Мы все учились понемногу —
Чему-нибудь и как-нибудь...

Когда знакомишься с широчайшей программой Благородного пансиона, то невольно думаешь о том переменчивом состоянии, в котором у нас обреталось просвещение в прежнее время; иногда мы видим обилие предметов даже там, где этого, имея в виду известные цели заведения, совсем не было нужно; но вдруг, стоило только появиться в качестве заправил дела лицам вроде Бунича и Магницкого, преподавание многих необходимых и притом даже скромных наук начинало считаться «богомерзким», а философия и право объявлялись явно подрывающими всякие основы общества.

Конечно, Жуковский не мог обнять в пансионе всей бездны премудрости, а в особенности – наук математических, которые не давались ему еще в Туле. Он предпочел углубиться в словесность. Так как сестра Жуковского Юшкова была знакома с Тургеневым, директором университета, то поэт получил доступ в дом Тургеневых, был другом этой замечательной семьи и товарищем по пансиону Андрея и Александра Ивановича Тургеневых. Кроме них приятелями его состояли еще граф Блудов, Дашков, Уваров и другие, впоследствии известные общественные деятели и сочлены «Арзамаса».

Сушь и схоластика преподавания не могли, конечно, удовлетворить мечтательной природы Жуковского, уже на заре юности порывавшегося в мир живых грез и идеалов, как не удовлетворялись этой казенной наукой и многие товарищи поэта. Не могли не видеть неудовлетворительности постановки учебного дела и наиболее добросовестные из руководителей Благородного пансиона, к числу которых принадлежал заведовавший заведением во время пребывания там Жуковского Прокопович-Антонский. Чтобы сделать более осмысленными занятия с учениками, в среде их было основано литературное общество, или «собрание воспитанников университетского Благородного пансиона». Были организованы заседания, происходили споры, продолжавшиеся за поздним ужином и переносившиеся даже в спальни воспитанников.

Жуковский вскоре стал выделяться среди своих сверстников как на этих собраниях, так и на актах, где воспитанники читали речи и стихотворения. Стихи писались, как это часто практиковалось в то время господства сентиментализма и псевдоклассицизма, на высокопарные и возвышенные темы вроде следующей: «Ода на благоденствие». Из данных акта 1798 года видно, что Жуковский считался из «первых воспитанников-директоров концертов и других забав»; он вместе с Сергеем Костомаровым большинством голосов всех питомцев был признан «лучшим в учении и поведении».

В собраниях читались речи, производился критический разбор сочинений учеников и переводов. Часы досуга, а также и часть классных занятий посвящались приготовлениям к собраниям. Молодые самолюбия возбуждались, воображение и ум работали, чтоб отличиться на этих сборищах, успех на которых определял значение учеников в заведении.

Жуковский был первым председателем собрания из воспитанников. Он открыл его речью при многочисленных слушателях. В числе последних бывали и титулованные знаменитости, заезжали известный И.И. Дмитриев и Карамзин.

Дмитриев обратил особенное внимание на молодого поэта, пригласил его к себе, узнал и полюбил, хотя и не пропускал недостатков произведений юноши без строгих замечаний; Жуковский с «задумчивым безмолвным умилением» их выслушивал, а про Дмитриева говорил, что тот «сорвал перед ним покров поэзии».

Из одного случайно сохранившегося протокола помянутых собраний видно, какие разнообразные происходили на них занятия. Так, председатель Жуковский открыл заседание речью: «О начале общества, распространении просвещения и об обязанностях каждого человека относительно к обществу». Читаны были стихи и переводы участников; Тургенев декламировал стихи Державина; Жуковский прочел критические замечания на сочинение одного из воспитанников: «Нечто о душе». Нужно заметить еще, что в пансионе нередко устраивались и драматические представления. Так, давались, например, «Разбойники».

Эти публичные споры и обсуждения разнообразных предметов, где невольно изощрялась наблюдательность, вырабатывалось красноречие, ум обогащался сведениями, должны были иметь благотворное влияние на воспитанников, в том числе и на Жуковского. Они дали несомненный толчок той творческой силе, которая еще с детства таилась в душе поэта и ждала только подходящих условий, чтобы широко излиться в его произведениях.

С другой стороны, нужно сказать, что обстановка в пансионе могла лишь укоренить те религиозные меланхолические задатки, которые жили еще с детских лет в душе Жуковского и которые потом выразились в крайнем пиетизме и в таких взглядах на общественные и исторические явления, которые заключали в себе очень мало прогрессивного.

Мы видели, что Жуковский рос в религиозной семье, где соблюдение обрядов считалось безусловно необходимой обязанностью. Ребенком он часто ходил в церковь, слушал там певчих, целовал образа и херувима на царских вратах. Его душу, склонную от природы к умирительным созерцаниям, настраивали на религиозный лад те поминальные службы по его отцу, которые справлялись целый год в их сельском храме. Особенность его положения в семье Буниных, где он все-таки был «приемыш», тоже давала пищу для меланхолических размышлений, естественным переходом для которых является религиозное настроение и обращение опечаленной души к Высшему Существо, способному устроить «все к лучшему». В этих далеких, но могучих впечатлениях детства, резкими чертами запечатлевшихся в сердце, можно найти немало причин тех мистических и сентиментальных произведений, которыми изобилвала поэзия

Жуковского.

Пребывание в пансионе не могло особенно ослабить первоначального настроения. Разлука с «милыми холмами» настраивала на печальный лад. В Московском университете еще действовали члены «дружеского общества»: поэт был в тесной дружбе с домом Тургеневых, знаком с Лопухиным и Карамзиным; многие из близких ему были масоны; к числу последних принадлежал и Прокопович-Антонский, наставник Жуковского, до конца жизни не оставивший знаменательной привычки, пожимая руки встречаемых, выщупывать от них безмолвный масонский ответ. Влияние этих людей, мистиков и пиетистов, падало на достаточно подготовленную почву. Также и иностранная литература, с которой теперь начал обстоятельно знакомиться поэт, в очень многих произведениях являлась сентиментальной и мистической, и муза Жуковского черпала отсюда полным ковшом родственные душе поэта мотивы.

Как известно, в общественных условиях той эпохи было достаточно причин, способствовавших мистицизму и пиетизму. Разочаровавшись в прелестях окружающей жизни, видя кругом себя немало тяжелых сцен, люди невольно отдавались туманным абстрактностям или религиозности, чтоб забыться от земной юдоли там, в мистической области, «горé»^[1]... Было мрачное царствование Павла I. Россию усиленно ограждали от «тлетворного Запада, от чего бы то ни было, напоминавшего прогресс, развитие и проч. Эти слова считались страшнее жупела. Не разрешались круглые шляпы, цветные галстуки, из русского языка изъяли множество слов, и употребление их грозило наказанием провинившемуся. Ввоз иностранных книг и держание их книгопродавцами запрещались. Люди „посократились“, попрятались; в Москве зорко следил за обывателями строгий обер-полицмейстер Эртель. При таких условиях только и возможно было писать „Оды добродетели“ и „Мысли на кладбище“: для живого мало оставалось места в жизни.

Но невыгодные условия, в которых тогда находились привоз и продажа иностранных книг на родине, до известной степени помогли Жуковскому на его жизненном пути. Эти условия позволили ему утилизировать приобретенное в пансионе знание иностранных языков. Потребность в чтении в обществе чувствовалась, хотя и небольшая, и существовал спрос на иностранных авторов; но держать их сочинения, как мы сказали, книгопродавцам не позволялось. Отсюда явилась необходимость переводов, что позволило Жуковскому и иметь заработок, и увериться в своих силах, – обстоятельство, весьма благоприятное для дальнейшей деятельности.

Первые печатные опыты Жуковского на литературном поприще относятся к начальному году его пребывания в пансионе. В журнале «Приятное и полезное препровождение времени» была напечатана его статья в прозе «Мысли у могилы» с подписью: «Сочинил Благородного университетского пансиона воспитанник Василий Жуковский...» Не правда ли, каким архаизмом веет от этих пространных заглавий и подписей, которыми так отличались произведения тогдашнего времени?

Второе печатное произведение поэта было в стихах: «Майское утро». До 1801 года напечатан был ряд его статей и стихов, в том числе стихотворение «Платону неподражаемому, достойно славящему Господа».

Все эти произведения, хотя в них и обнаружались уже зачатки тех поэтических мыслей, которые впоследствии с большим изяществом и стройностью формы высказывал Жуковский, были тяжеловесны, стих в них неуклюж, обороты казенные, и вообще все это мало напоминает того поэта, про « пленительную сладость стихов» которого говорит Пушкин.

Знание языков помогло Жуковскому пополнять свои скудные карманные деньги. В 1801 году он перевел роман Коцебу «Мальчик у ручья». Книгопродавец заплатил за него 75 рублей, что представляло солидный гонорар для того времени. Кроме этого, поэт переводил романы Шписа и пьесы Коцебу. Уезжая на летние вакации в «милое» Мишенское, Жуковский возил туда свои труды, и благосклонный ареопаг его слушательниц, приходивший в восторг от произведений друга «золотых лет» юности, поддерживал и поощрял поэта к дальнейшей деятельности. Как мы раньше сказали, Жуковский привык отдавать свои произведения на суд этого ареопага с самого начала своего поэтического творчества.

Служба, как известно, являлась фатальным уделом для многих знаменитых деятелей русской литературы. И судьба как нарочно давала очень странные занятия нашим излюбленным писателям. Гоголя она определила в департамент – подшивать бумаги, причем искусившийся в этом деле «чинуша» третировал автора «Мертвых душ» как совершенно «пустякового» человека, неспособного даже подшить бумаги. На Пушкина судьба напялила камер-юнкерский мундир, в котором так неловко себя чувствовал великий поэт. Одинаково странным должно показаться нам и то обстоятельство, что Жуковский по окончании студенческого экзамена определился на службу в московскую контору соляных дел. Он впоследствии сам потешался над своей должностью, и мы лишь с трудом можем себе представить целомудренно-девственного поэта, меланхолического певца «дубрав и полей» среди «приказных строк», которыми кишели тогдашние служебные места.

Но служба, конечно, не могла удовлетворить поэта, и уже в 1802 году он вышел в отставку и в апреле возвратился в Мишенское.

Здесь Жуковский вступает в новую фазу своей жизни: он посвящает много времени самообразованию, приготавливаясь к тому литературному служению, о котором не переставал мечтать. Приобретенная им в Москве библиотека была очень полезна для него. В списке его книг встречается, кроме французской энциклопедии Дидро, масса произведений французских, немецких и английских авторов. Жуковский был несомненно человек начитанный и образованный. Чтобы убедиться в этом, стоит, например, заглянуть хотя бы в недавно напечатанные «Записки» Смирновой; в ее салоне, где собирался цвет тогдашней литературы, дебатировались всевозможные вопросы, начиная от «тайн неба и земли» и кончая самыми запутанными историческими явлениями, причем и Жуковский выступал нередко в качестве оракула при разрешении возбужденных вопросов.

К периоду пребывания Жуковского в пансионе относится его знакомство с немецкой литературой и сильное увлечение ею. Мы позже скажем о произведениях Жуковского и его значении как поэта. Здесь же укажем лишь на то, что первые толчки к ознакомлению его с литературой немецкой дал Андрей Иванович Тургенев, страстно любивший Шиллера и Гете. «Это было чистое, исполненное любви к прекрасному сердце – душа всех радостей нашего кружка», – так отзывался Жуковский об этом рано умершем своем даровитом товарище. Вообще братья Тургеневы слыли «записными немцами».

Русская литература того времени, когда выступал Жуковский, поражала своей скудостью и незначительностью. Малокультурное русское общество, отсутствие мало-мальски обширного круга читателей, политические и общественные условия – все это, конечно, не способствовало расцвету мысли и появлению талантов. И русская литература по преимуществу питалась крупными, падавшими с роскошного стола более культурных народов: она шла на буксире европейской мысли, усваивая, впрочем, часто в ней самое поверхностное, а нередко и извращая ее духовное содержание применительно к жизни тогдашнего полуазиатского русского общества. Ко времени появления Жуковского, как известно, наша литература (если только можно назвать этим именем тогдашнее ничтожное количество печатных памятников мысли) переживала главным образом псевдоклассическую жвачку, заимствованную с Запада. Эта литература, не имевшая никакого отношения к действительной жизни, трескучая и фальшивая, становилась невыносимо

скудной в своих русских подражаниях. Европа уже пресытилась этой неудобоваримой пищей, но мы еще продолжали питаться ею: как известно, мы всегда запаздывали перенимать от Запада и обыкновенно брали к себе уже то, что в Европе было давно забраковано.

Жуковский, даже в обществе Тургеневых и Карамзина, в отношении знакомства с литературой Запада был одним из передовых людей. Скудость мотивов русской поэзии и отсутствие содержания в русской общественной жизни невольно заставляли обращать внимание на литературное богатство Европы. И немудрено, что при тех условиях, в которых воспитывался Жуковский, и при действовавших на него влияниях он остановился на сентиментальных произведениях.

Первой вещью, прославившей имя поэта и сделавшей его известным, был перевод меланхолической элегии Грея «Сельское кладбище». Довольно странное зрелище представляет Жуковский, веселый, юмористичный и добродушный, по всеобщим отзывам, и, однако, в свою раннюю пору останавливающийся с таким упорством на мыслях «о смерти», кладбищах и «тщете всего земного». Но, как мы уже ранее видели, в душе поэта много задатков для такого рода поэтических излияний.

Мишенское «девственное общество» с восторгом отнеслось к этому произведению, написанному на его глазах и сперва, конечно, поднесенному на рассмотрение «ареопага». Пригорок, на котором поэт получал свои вдохновения, его сельские друзья называли «Парнасом». Следует отметить здесь, что псевдоклассическое и связанное с ним знакомство с мифологией считались в то время настолько модными, что употребление разных мифологических терминов было обычной принадлежностью современных писем и разговоров. Даже десятилетняя Авдотья Петровна Елагина в письмах называла Жуковского «Юпитер моего сердца», а Карамзина юная мишенская компания величала «Зевсом литературного Олимпа».

На суд к этому «Зевсу» была отослана элегия, и в Мишенском с сердечным трепетом ожидали приговора. «Зевс» похвалил стихи, и они были напечатаны в шестой книге «Вестника Европы» за 1802 год. Удача глубоко обрадовала поэта и была сильным импульсом для его дальнейшего литературного подвижничества.

По отзывам современников, это стихотворение имело большой успех и сразу поставило автора в разряд лучших поэтов родины. Действительно, нужно только знать тогдашние поэтические произведения, их сушь и фальшь, неуклюжесть формы, чтобы понять впечатление, произведенное «Сельским кладбищем». Красивые, звучные стихи, прекрасные описания природы и изображение различных состояний человеческой души вместе с

лежавшим на всем произведении томным, мягким колоритом – все это должно было действовать умирительно на неизбалованное литературными перлами ухо читателей.

Следующие годы Жуковский проводил то в Мишенском, то в Кунцеве, близ Москвы, у Карамзина, который радушно принимал поэта. К этому же времени относится приобретение им многих знакомств, в том числе с Василием Ивановичем Киреевским, отцом известных славянофилов братьев Киреевских. Новый знакомый поэта был женат на подруге его юности, Авдотье Петровне Юшковой (впоследствии Елагиной). Мы не будем перечислять здесь произведений Жуковского, относящихся к этому периоду его жизни: произведения эти не обладают особенными достоинствами и прибавляют мало интересного к характеристике поэта-романтика.

Но последовавшие непосредственно за этим годы имеют большое значение в жизни поэта и помогают понять многое в меланхолических аккордах его лиры.

Правы те биографы, которые, признавая в Жуковском искреннего лирика, выражавшего в стихах свои наболевшие чувства и передуманные мысли, ставят его поэзию в тесную связь с его жизнью. Действительно, в жизни поэта были обстоятельства весьма печальные для него: это несчастная или даже – если быть ригористом – преступная любовь Жуковского к его племяннице, Марье Андреевне Протасовой, – любовь, которая не могла прийти к вожделенному концу, то есть браку влюбленных, благодаря суровому, исполненному формальной религиозности взгляду на этот вопрос матери любимой им девушки.

Екатерина Афанасьевна, младшая дочь Бунина, вышла замуж за Протасова; у нее было две дочери: старшая Мария и младшая Александра, впоследствии вышедшая замуж за известного А.Ф. Воейкова (автора «Сумасшедшего дома»). Несчастливая любовь к Марье Андреевне, с которой поэт сдружился с юных лет и с которой имел, как любили тогда говорить, «сродство душ», составляла рану Жуковского; рана эта часто растревлялась и являлась, как упомянуто нами и ранее, одной из причин того меланхолического тумана его поэзии, который придает однообразный колорит многим его произведениям.

Дружеское сближение с сестрами Протасовыми относится к годам, непосредственно последовавшим за «Греевой» элегией и началом литературной деятельности Жуковского. Что бы ни говорили о глупой «сентиментальности» таких продолжительных платонических отношений влюбленных, позволявших им ворковать на протяжении целого десятка лет,

– тот, кто познакомится с перепиской Жуковского с Протасовой, почувствует в ней милую струю светлого и идеалистического чувства и услышит трогательную жалобу не получившего должного счастья сердца, насмешка над которыми была бы кощунством... Так теперь не пишут, и, право, чем-то благоуханным веет с этих страниц, продиктованных нежным влечением сердца и светлыми воспоминаниями юности. Подобные же черты сквозят и в той корреспонденции людей сороковых годов, которая печаталась в последнее время в «Русской мысли».

В 1805 году Екатерина Афанасьевна овдовела и переселилась из своей деревни (Муратово) в Белев, где и жила скромно с дочерьми. Как женщина умная она сознавала, что детям необходимо дать образование. Жуковский, живший в Мишенском и видевший расстроенные дела Екатерины Афанасьевны, взялся помогать ей в деле образования дочерей, к чему его, конечно, склоняло и влечение к симпатичным девочкам. Действительно, по рассказам знавших их современников, это были прекрасные существа, рано оставившие «юдоль плача»... Жуковский, принимавшийся обыкновенно серьезно за всякое дело и желавший во всякой области знания «объять необъятное», за что удостаивался от друзей добродушных насмешек, составил обширный педагогический план. При обучении своих воспитанниц он хотел пополнять и расширять собственное образование. Каждый день поэт ходил из Мишенского в Белев заниматься или читать на русском и иностранных языках. В программу занятий входил обширный круг предметов, начиная с философии и кончая живописью. Поэты читались сначала сравнительно, для того чтобы отметить достоинства их; с другой стороны, был и порядок чтения хронологический, чтобы определить связь писателя с породившим его веком.

Это преподавание, продолжавшееся около трех лет, естественно, поселило в ученицах дружеское влечение к учителю, а в мягкую, поэтическую душу Жуковского заронило то чувство, которое заставило его познать «горечь и сладость бытия». Тут-то зародилась та любовь, которая окрасила меланхолическим колоритом будущее нашего поэта. Вспоминая эти дни в любимых родных местах, поэт говорит:

О, дней моих весна, как быстро скрылась ты
С твоим блаженством и страданьем!

На это сердечное влечение к Марье Андреевне указывают многие произведения того, а также и последующего времени, где поэт говорит про

«печальный свой жребий». Так, в «Послании к Филалету» (А.И. Тургеневу) поэт сообщает:

Любовь... Но я в любви нашел одну мечту,
Безумца тяжкий сон, тоску без разделенья!

Жуковский и тогда еще предчувствовал, зная непоколебимый характер Екатерины Афанасьевны, что она не согласится на его брак с ее дочерью, и это так обижавшее сердце поэта «благочестие» суровой матери впоследствии даже у благодушного певца «Светланы» вызывало невольное осуждение. В упомянутом же «Послании к Филалету» он, несколько высокопарно выражаясь, говорит, что отдал бы жизнь за то, чтобы искупить счастье той,

С кем жребий не судил мне жизнь мою делить!

Но печаль и тоска в таком кипучем возрасте, как тогдашние годы Жуковского, не могут безраздельно завладеть сердцем. Это было бы явлением прямо болезненным, а Жуковский был человек здоровый, желудок которого, по его собственному выражению, никогда не капризничал... У него под рукою находилась громадная литература, мир возвышенных и поэтических грез захватывал волною горячую голову; кругом красовалась «очаровательная» природа, с которой еще в детстве сроднился поэт; у него было много знакомых: он проживал то в Мишенском, то в Белеве, то разъезжал по друзьям, а иногда и они к нему наезжали. Еще в 1802 году Жуковский сблизился с Мерзляковым, известным профессором Московского университета. Мерзляков посещал приятеля в Белеве; в одном из писем первого мы читаем, что «храмина» Жуковского стояла на крутом берегу Оки, откуда открывались прекрасные и широкие виды.

И общество, и поэтическая обстановка, в которой жил поэт, и его связи вместе с той литературой, которая составляла его умственную пищу, – все это побуждало и самого Жуковского «творить». Он переводит и печатает «Дон Кихота», «Гимн», «Мальвину», «Идиллию», басни и стихи Флориана, Лафонтена и других. К этому же времени относится и его знакомство с Шиллером, к которому впоследствии он так привязался. В трагедии «Валленштейн» его пленял чудный образ Теклы. Раз после чтения с

ученицами этой трагедии он набросал песню Теклы, назвав ее: «Тоска по миле». Вот конец этой песни:

Но сладкое счастье не дважды цветет,
Пускай же драгое в слезах оживет!
Любовь, ты погибла, ты, радость, умчалась,
Одна о минувшем тоска мне осталась!

Последние строки этого стихотворения и Жуковский, и его ученицы очень часто и устно, и письменно повторяли.

В 1807 году Жуковский особенно усердно сотрудничает в «Вестнике Европы», редактором которого он становится в следующем году.

«Вестник Европы», как известно, под редакцией Карамзина приобрел славу и сравнительно большое распространение. Но в 1803 году Карамзин оставил журнал, будучи назначен историографом государя. В это время он занялся главным трудом своей жизни – «Историей государства Российского», а издание «Вестника Европы» перешло сначала к Панкратию Сумарокову, при котором журнал утратил свою популярность, а затем к профессору Каченовскому. Карамзин и другие приятели Жуковского, видя в последнем крупного писателя и поэта, вызвали его для руководства изданием. Жуковский, мечтая о славе и больших деяниях и питая широкие литературные планы, воспользовался предложением друзей и в 1808 году переселился в Москву. С обычной серьезностью принялся он за дело и в нескольких статьях выразил свой взгляд на призвание и обязанности писателя: любить истинное и прекрасное, уметь их изображать, стремиться к ним самому и силою красноречия увлекать к идеалам других – вот благородное назначение писателя, по мнению Жуковского. Затем в письме к Филалету «о нравственной пользе поэзии» он говорит на ту же тему:

«Поэт должен усиливать воображение не со вредом рассудку... он должен живописать любовь, не делая привлекательным ни чувственности, ни сладострастия... Если он и описывает чувства и страсти, которые отвергает рассудок, если и украшает характеры недостойные цветами поэзии, то он не должен обращать эти моральные недостатки в совершенное моральное безобразие... Стихотворец никогда не должен перестать быть человеком, почитателем Бога, членом общества и сыном отечества...»

Из-за этих однообразных и достаточно общих рассуждений проглядывает мягкий и гуманный взгляд Жуковского на призвание поэта.

С занятием должности редактора «Вестника Европы» для Жуковского началась еще более обширная литературная деятельность. С этим временем совпадает первое появление крупных вещей поэзии романтизма, о своей роли в культивировании которого на русской почве поэт говорил впоследствии:

«Я – родитель на Руси немецкого романтизма и поэтический дядька чертей и ведьм немецких и английских...»

Глава III. Известность поэта и почести

Первая баллада. – Ужас и красота таинственного. – «Печора» Бюргера. – Переписка с друзьями. – Приглашение к карьере. – Любовь поэта. – 1812 год. – Неудачное сватовство за Машу. – Празднество у Плещеева. – Отъезд из Муратова. – Жуковский-ополченец. – Письмо о Бородинской битве. – «Певец во стане». – Успех этой пьесы. – Поднесение ее императрице. – «Послание Александру I». – Чтение его во дворце. – Налаживание придворной карьеры. – Свидание с государыней. – Выход Маши замуж. – «Все в жизни – к прекрасному средство!» – Деятельность в «Арзамасе». – Дерпт и Петербург. – Окончательное переселение в столицу

В 1808 году в «Вестнике Европы» была напечатана баллада Жуковского «Людмила», представляющая пересказ приносившей к славянской жизни знаменитой баллады Бюргера «Ленора».

Кому хотя бы из собственного детства не известно действие подобных романтических произведений на живое воображение? И сладко, и жутко становилось при их чтении... Замечательное свойство души человеческой интересоваться ужасами и чувствовать при этом какое-то сладострастное упоение. И вообще в натуре человека есть влечение к «таинственному», область которого населена ужасами и неразгаданным... Это свойство человеческой души указано Пушкиным в его чудных стихах из «Пира во время чумы»:

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь страшных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы...
Все, все, что гибелью грозит, —
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья может быть залог...

Всякий помнит, с каким замиранием сердца слушал он в юности «Вия» или «Страшную месть» Гоголя; а Гофман и Эдгар По с их фантастическими рассказами? Главная причина успеха таких произведений кроется в их влиянии на воображение, привлекаемое неразгаданной областью таинственного... Может быть, поэтому таким громадным успехом и пользуется романтическая литература как у детей и юношей, так и в обществах, еще не окончательно созревших в умственном отношении. Мы после подробнее скажем об исторической роли романтизма и о том, каким образом являлся он проводником высоких моральных и социальных учений.

«Ленора» Бюргера – одна из самых талантливых и страшных немецких баллад. Там есть сцены, написанные мастерской рукой и при чтении которых, в особенности под вечер, замирает верующее в «таинственное» сердце. Такова сцена знаменитой фантастической скачки, когда Ленора, обезумевшая от напрасного ожидания милого, забыв и мать, и все на свете, бросается на коня и, прижавшись к приехавшему жениху, мчится с призраком при безжизненном и бледном свете луны. Быстро несутся они, и наконец бег коня переходит в полет вихря... За ними мчится толпа фантастических призраков и страшных привидений... Попавшаяся на пути похоронная процессия со священником и певчими вовлекается в безумный полет коня... И среди этой бешеной езды, как в бреду горячки, раздается вопрос призрака невесте: «Страшно, милая? Ясно светит месяц! Лихо ездят мертвецы! Боишься мертвых?...»

Так же фантастичен и печален конец баллады, в которую вложен религиозный смысл, кратко выражаемый в возгласах призраков к Леноре: «Терпение, терпение – пусть даже разобьется твое сердце!»

Но все это у Жуковского вышло гораздо слабее, хотя «Людмила» и нравилась современникам. В русской жизни не было таких романтических преданий, как на западе Европы. Там были могучие феодалы, чьи гордые замки, как разбойничьи гнезда, виднелись в горах; там были рыцари, турниры и трубадуры; крестовые походы, могущественные императоры и папы, простиравшие свои руки на весь католический мир... Тамошняя кипучая история являлась богатой канвой для создания по ней всяких романтических узоров.

В «Вестнике Европы» за указанное время были помещены и другие вещи Жуковского: перевод «Кассандры» Шиллера и прочее.

Но Жуковский недолго редактировал журнал. Столкновения с сотрудниками и труды по редакции охладили его рвение, и уже через год в издании снова начал хозяйничать Каченовский. Хотя поэт и считался

редактором до конца 1810 года, но в сущности это звание последнее время было только номинальным. В указанном году Жуковский возвратился в Мишенское. По соседству с Муратовым на оставленные ему Буниным деньги купил он небольшое имение и поселился там. Из этого своего «Тускулума» он ездил то в Муратово, то в Чернь, орловское имение своего богатого приятеля Плещеева, где и проживал более или менее продолжительное время. Помянутый Плещеев был большой любитель искусств: в своем крепостном театре он ставил пьесы собственного сочинения, переписывался стихами с Жуковским, перекладывал стихотворения последнего на музыку, а жена их распевала.

Поэт поддерживал довольно оживленную переписку со своими московскими друзьями. Александр Тургенев был его комиссионером по высылке книг из Москвы. Жуковского озабочивало казавшееся ему недостаточным собственное образование, в чем он откровенно признавался приятелю. «Я – совершенный невежда в истории, – пишет он Тургеневу. – История всех наук самая важная, ибо в ней заключена лучшая философия...» «Она возвышает душу, расширяет понятия и предохраняет от излишней мечтательности...»

Все же занятия историей, изучаемой поэтом весьма усердно, может быть, под влиянием Карамзина, не избавили его от мечтательности, которая здесь, вблизи дорогих его сердцу людей, находила обильную пищу. Но здесь же эти мечтания о счастье потерпели полное фиаско.

Несмотря на приглашения друзей приехать в столицы и устроить карьеру, для чего представлялся удобный момент, так как в это время покровительствовавший Жуковскому И.И. Дмитриев был назначен министром юстиции, поэт не соблазнился этими предложениями. Вероятно, ему претила служба после неудачного опыта в соляной конторе и хотелось сохранить независимость. С другой стороны, жизнь в Муратове представляла много приятного: он успел втянуться в занятия поэзией и историей. Отметим здесь все-таки тот факт, что известная независимость в устройстве жизни в век молчалинского угодничества перед сильными мира сего не осталась незамеченной «всевидящим оком». И как это ни странно покажется, но даже добродушный, мечтательный Жуковский, впоследствии находивший «безумными» самые скромные политические вспышки на Западе, Жуковский – певец «Светланы», автор патриотических стихотворений и придворных мадригалов – казался подозрительным полиции, и граф Ростопчин отказался (в позднейшее время) взять поэта к себе на службу, считая его «якобинцем».

На родине Жуковский занялся составлением сборника лучших русских

стихотворений, который вышел в Москве в пяти частях в 1810–1811 годах. Кроме того, он немало переводил из Шиллера, Парни и других, а также написал первую часть повести «Двенадцать спящих дев» («Громобой»).

Но в это время случались и печальные события, которые повергали поэта в тоску. Почти в одно время с Марьей Григорьевной Буниной умерла мать Жуковского, турчанка Сальха. При этом считаем удобным заметить, что отношения поэта к матери до сих пор плохо выяснены в его биографиях.

Но молодость скоро забывает огорчения, в особенности при условии, если вблизи находятся дорогие люди, которые стараются утешить огорченного.

Ученицы поэта были уже взрослыми девушками. Марье Андреевне исполнилось 17 лет. Чувство Жуковского начинало проявляться в более определенной форме; у него возникла мысль о женитьбе на Маше. Это чувство было настолько экспансивно, что не могло держаться в тайниках души поэта и естественно стремилось вылиться наружу. В стихах и посланиях к приятелям он всюду говорит о любимой девушке:

Есть одна во всей вселенной,
К ней– душа и мысль о ней...

Официальных преград для женитьбы не было, но, как мы уже раньше заметили, непреодолимым препятствием являлась непреклонность матери невесты, считавшей такой брак преступным.

Так подошел 1812 год, положивший начало большой популярности Жуковского. Уже было близко время Бородинской битвы, пожаров Москвы и других страшных событий Отечественной войны с ее заключительной трагической сценой – ужасной переправой французов через Березину.

Жуковский решился наконец открыть свою любовь к Маше и просил у матери руки ее дочери. Но Екатерина Афанасьевна не только отказала, но и запретила говорить об этом с кем бы то ни было, в особенности с дочерьми. Напрасно поэт доказывал, что препятствий нет, что он – не дядя невесте по церковным книгам и даже не родственник, – Протасова была неумолима, и она не изменила непреклонному решению и после... Эта печальная история отразилась на произведениях поэта, относящихся к тому времени, – в них звучат особенно грустные ноты.

«Дванадцать языков» уже вторглись в Россию... Но в доме Плещеева соседи собрались 3 августа праздновать день рождения гостеприимного

хозяина. Муратовские дамы тоже были приглашены на празднество. Жуковский пел своего «Пловца», положенного на музыку Плещеевым:

Вихрем бедствия гонимый,
Без кормила и весла,
В океан неисходимый
Буря челн мой занесла...
В тучах звездочка светилась,
«Не скрывайся!» – я взывал;
Непреклонная сокрылась...
Якорь был и тот пропал!

В дальнейших строфах Протасова усмотрела намек на привязанность поэта к ее дочери, что было нарушением данного Жуковским обещания никому не говорить о своем чувстве. Она была очень недовольна, и поэт вынужден был на следующий же день оставить Муратове.

Через несколько дней он уже был поручиком московского ополчения, а 26-го, в день Бородина, находился близ действующей армии, но не участвовал в битве:

В рядах отечественной рати
Певец, по слуху знавший бой,
Стоял он с лирой боевой
И мщенье пел для ратных братии!

Он был с московским ополчением в резерве, и до них долетали ядра. В письме к великой княгине Марии Николаевне он так описывает канун страшного дня:

«Две армии стали на этих полях одна перед другою... Все было спокойно. Солнце село прекрасно, вечер наступил безоблачный и холодный; ночь овладела небом, и звезды ярко горели, зажглись костры... В этом глубоком, темном небе, полном звезд и мирно распростертом над двумя армиями, где столь многие обречены были на другой день погибнуть, было что-то роковое и несказанное...», а в самый день битвы «небо тихо и безоблачно сияло над бьющимися армиями...»

Поэт, оторванный от мирных полей для «брани», принес и сам жертву отечеству: после сражения под Красным он заболел горячкой и снова возвратился в Муратове лишь в январе 1813 года.

Плодом этой кратковременной военной деятельности в памятный для Руси год явилось знаменитое в свое время стихотворение, пробившее автору дорогу к венценосцам, – «Певец во стане русских воинов».

Теперь, когда мы имеем перед собою образцы совершеннейшей поэзии, когда и у нас, в России, накопился уже большой и ценный поэтический багаж и когда нам знакомы литературы всего мира, – может быть, теперь многое в этом стихотворении покажется нам фальшивым, вымученным и мы опять увидим в нем осколок псевдоклассической поэзии; нам может показаться странным это изображение героев Бородина – русских солдат – в костюмах древнеклассических, с копьями, в шлемах, латах и со щитами; но нужно перенестись в ту эпоху, когда была потрясена вся родина «вражеским нашествием», когда ненависть к пришельцам была всеобщая, а желание скорее избавиться от них – заветнейшим желанием, чтоб понять огромный успех этого произведения, в котором кроме «казенных» мест есть немало прекрасных и звучных строф. Во всяком случае эта пьеса далеко выше первого «патриотического» стихотворения Жуковского – «Песни барда», напечатанной в 1806 году в «Вестнике Европы».

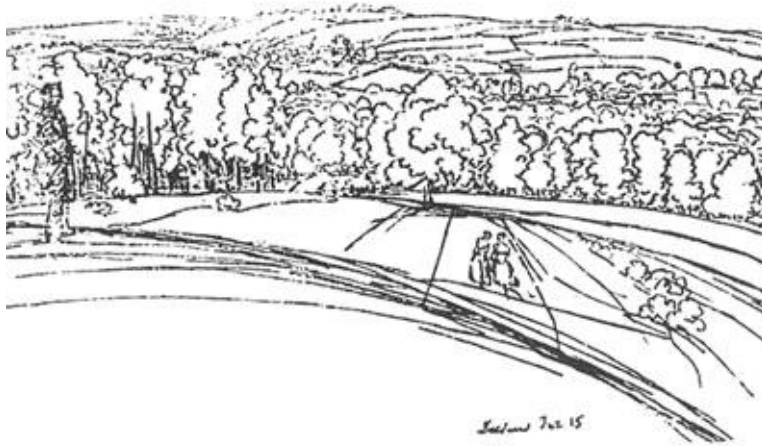
И.И. Дмитриев поднес «Певца во стане» императрице Марии Федоровне, которая, прочитав стихи, приказала просить автора, чтоб он доставил ей экземпляр их, собственноручно переписанный, и приглашала его в Петербург. Жуковский отправил требуемое со стихотворным посвящением:

Мой слабый дар царица одобряет...

Это было первым фимиамом и первым обращением певца к царственным особам, что потом он, как известно, делал очень часто.

По возвращении поэта на родину многое изменилось там. Киреевский умер, и вдова его Авдотья Петровна тосковала. У Марьи Андреевны уже в это время обнаружались неопределенные признаки той болезни, которая свела ее в могилу. Девушке открыли о любви к ней Жуковского и о его неудачном сватовстве, но сам он не объяснялся с нею, что делало их отношения неловкими. Все это тяжело отражалось и на самом поэте, который, чтоб успокоить себя, а также, может быть, приобрести

надлежащий аргумент в пользу брака, просил совета у маститого масона Лопухина. Старик благословил его. Но ничто, даже авторитет московского Филарета, не могло поколебать непреклонности матери. Затем в историю Жуковского еще вмешалось обстоятельство, значительно запутавшее дело. В Муратове к 1814 году появилась новая личность – умный, хитрый, но нравственно низкий Воейков. Благодаря своей ловкости, остроумию и лицемерию он довольно скоро втерся ко всем в доверие и стал очень недоброжелательно относиться к своему приятелю-поэту. Василий Андреевич, проведя целый год в надежде и сомнениях, опять решился попытать счастья; но Екатерина Афанасьевна стояла на своем. Положение Жуковского, в особенности в присутствии Воейкова, становилось невыносимым, и он уехал из Муратова в Долбино, к племянницам Анне и Авдотье Петровне, с которыми состоял, как мы и ранее указывали, в дружеских отношениях.



Вид усадьбы А.П. Киреевской на село Долбино. Рисунок В.А. Жуковского

Удаление от Протасовых живоительно подействовало на измученную душу Жуковского и особенной поэтической производительностью. К этому времени относится «Эолова арфа», в которой тоска о минувшем вылилась трогательными звуками; тогда же создана и «Светлана» – эта русская баллада, исполненная более радостного тона, чем мрачная «Ленора».

Но оскорбленный и опечаленный у Протасовых незлобивый Жуковский – и это ясно указывает нам на его чистую и симпатичную душу – не оскорблял сам и не мстил, а, наоборот, явился первым помощником

Екатерины Афанасьевны: по случаю выхода Александры Андреевны замуж за Воейкова он продал свою деревню возле Муратова и все деньги (11 тысяч рублей) отдал в приданое племяннице, очень довольный тем, что его жертву приняли благосклонно.

Недалек был день новой славы Жуковского: он в это время закончил свое известное «Послание императору Александру I, спасителю народов». Париж уже давно лежал у ног русского государя; Левиафан-Наполеон был сокрушен, и приближался час, когда далекая скала среди безграничного океана должна была похоронить окончательно славу Франции и грозу Европы.

В октябре 1814 года Жуковский отправил свою рукопись Александру Ивановичу Тургеневу в Петербург для поднесения императрице Марии Федоровне. Тургенев с чувством прочитал великолепно переписанный и переплетенный экземпляр «Послания». Царственные слушатели и их свита были в восторге от нового произведения Жуковского. Великие князья и княжны прерывали чтение восклицаниями: «прекрасно, превосходно, c'est sublime!^[2]»

«Пишу тебе, бесценный и милый друг, – так извещал Жуковского Тургенев в письме от 1 января 1815 года, – чтоб от всей души, произведением твоего гения возвышенной, поздравить тебя с Новым годом и новою славою!»

Приятель подробно описывал поэту всю сцену чтения и произведенный посланием эффект. Государыня немедленно приказала сделать великолепное издание этого стихотворения в пользу Жуковского, звала его приехать в Петербург и желала познакомиться со всеми его новыми стихами поскорее.

Рассказывают, что это послание имело в то время огромный успех и что устраивались чтения его перед обвитым цветами бюстом императора.

Но Жуковский пока не особенно спешил на радушный царский призыв. Было ли у него предчувствие, что поэтический свободный дар трудно соединить со званием и обязанностями придворного, – в чем, конечно, он не ошибался, – но только в письме к Уварову от 4 августа поэт колеблется: «Боюсь я этих *grands-projets*, – сообщает он, – могут составить за меня какой-нибудь план моей жизни да и убьют все... Тебе, кажется, не нужно иметь от меня комментариев на то, что мне надобно... независимость да и только...».

К этому же времени относится завершение Жуковским давно уже начатого известного народного гимна.

Карамзин окончил восемь томов своей истории, – этот труд

вдохновляет на историческую работу и Жуковского: он собирался написать поэму «Владимир» и с целью поиска материалов намеревался совершить путешествие в Киев и Крым. Но привязанность к семейству Протасовой взяла свое, и вместо Крыма поэт очутился с родными в Дерпте, где Воейков получил место профессора в университете.

Но поэта скоро выжили и из Дерпта. Тяжело ему было покидать то, с чем он так сжился; однако добрый Жуковский нашел силы перенести и эти огорчения. С интересом читается его письмо к Марье Андреевне от 29 марта 1815 года при отъезде из Дерпта... В нем уже слышатся те мистические струны, которые потом такими полными аккордами зазвучали в его поэзии. «Все в жизни – к прекрасному средство!» – восклицает он для утешения себя и Маши в этом письме. Теперь на родине нечему его было удерживать, и уже в мае 1815 года он ездил в Петербург, чтобы представиться государыне, и был ею ласково принят. «Кое-как накопил у приятелей мундирную пару, – рассказывал Жуковский о представлении императрице. – Я не струсил: желудок мой был в исправности, следственно и душа в порядке»...

Он был у государыни с Уваровым, говорили по-французски. Поэт приготовил было целую речь, но ничего сказать не сумел...

Придворная карьера «певца» налаживалась... Был близок момент, когда, по язвительной эпиграмме Пушкина,

...Певец
с указкой втерся во дворец!

24 августа Жуковский снова отправился в Петербург и виделся опять с императрицей. Он был назначен чтецом при ней, и, как видно из писем поэта, многое тяготило его. Более четырех месяцев прожить в столице он не мог. «О Петербург, проклятый Петербург, с своими мелкими, убийственными рассеяниями, – пишет он в Долбино. – Здесь, право, нельзя иметь души. Здешняя жизнь давит меня и душит!»

Скоро поэта ожидало новое разочарование: его любимица, его «идеальная Маша» решила выйти замуж за дерптского доктора Мойера, хорошего приятеля Жуковского. Положение девушки в семействе, при строгой матери и взбалмошном Воейкове, при ее тяготивших всех неопределенных отношениях с Жуковским, было нелегкое, и Марья Андреевна решилась отдать свою руку человеку, которого «уважала». Но это решение поразило как громом все еще питавшего надежды Жуковского.

К чести его, однако, надобно сказать, что он одинаково терзался и за Машу, полагая, что ее принуждают выйти за нелюбимого человека.

Влюбленные должны были сказать «прости!» своему безвозвратно разбитому прошлому.

Вот небольшой отрывок из того письма, которое Марья Андреевна написала по поводу своего решения:

«Дерпт. 8-го ноября 1815 г. Мой милый, бесценный друг! Последнее твое письмо к маменьке утешило меня гораздо более, нежели я сказать могу, и я решаюсь писать тебе, просить у тебя совета так, как у самого лучшего друга после маменьки... Ты говоришь, что хочешь заменить мне отца... о, мой добрый Жуковский, я принимаю это слово во всей его цене... Я у тебя прошу совета, как у отца; прошу решить меня на самый важный шаг в жизни; я с тобою, с первым после маменьки, хочу говорить об этом и жду от тебя, от твоей ангельской души своего спокойствия, счастья и всего доброго... То, что теперь тебя с маменькой разлучает, не будет более существовать... В тебе она найдет утешителя, друга, брата... Ты будешь жить с нею, а я получу право иметь и показывать тебе самую святую, нежную дружбу, и мы будем такими друзьями, какими теперь все быть мешает...»

И Жуковский, эта «ангельская душа», махнув рукою на свое разбитое счастье, благословил свою Машу, повторяя любимое:

Все в жизни – к прекрасному средство!

Не будем подробно следить за этими двумя-тремя годами жизни поэта, проведенными им в Дерпте пополам с Петербургом. Казалось, что его печали угомонились и он наслаждался возможностью оказывать «самую нежную» дружбу Марье Андреевне.

В Петербурге дела Жуковского шли очень хорошо: царское семейство к нему благоволило. В 1817 году там печаталось собрание стихотворений поэта в двух томах. Один экземпляр этих стихотворений вместе с отдельно изданным «Певцом в Кремле» был поднесен министром народного просвещения, известным князем А.Н. Голицыным, государю, который назначил поэту пожизненный пенсiон в четыре тысячи рублей

ассигнациями.

К этому же времени относится усиленная деятельность Жуковского в «Арзамасе».

Изложение подробной истории этого общества, в котором такое видное участие принадлежит Жуковскому, не входит в задачи нашего очерка. Укажем только, что под знаменем «Арзамаса» собрались молодые и прогрессивные силы русской литературы для борьбы с озлобившимися приверженцами старых литературных традиций, группировавшимися вокруг известного Шишкова и его «Беседы». Эти хранители отживших и фальшивых литературных преданий, фанатические староверы литературной ветоши и буквоеды, ненавидевшие любое новшество, пытались тщательно оберегать от новых веяний русскую словесность. Они считали ересиархом даже Карамзина, внесшего в литературу новые мотивы и более изящный, простой язык, а имени Жуковского не могли равнодушно слышать. Один из «шишковцев», князь Шаховской, в написанной им комедии вывел Жуковского под видом жалкого балладника Фиалкина.

«Арзамас» неустанно и остроумно осмеивал этих мракобесов. На его заседаниях происходили споры, беседы, писались и произносились эпиграммы. В числе членов общества значились В.Л. и А.С. Пушкины, Жуковский, Дашков, князь Вяземский, граф Уваров, Блудов, Батюшков и другие. Это был дружеский союз людей во имя одной цели и одних идеалов, – людей, выносивших из совместных бесед известную общность взглядов и бывших во многом солидарными. Большое оживление собраниям «Арзамаса» придавал Жуковский своим безобидным юмором. До нас дошли некоторые комические протоколы собраний, составленные поэтом.

К рассматриваемому времени, кроме нескольких мелких стихотворений и переводов, относится создание поэмы «Вадим» – фантастической пьесы с обычными для Жуковского меланхолическими мыслями, высказанными в легких, звучных стихах. В некоторых частностях «Вадима» заметны указания на личные обстоятельства автора. Свадьба Маши дала возможность Жуковскому набросать нижеследующую картину:

Молясь, с подругой стал Вадим
Пред царскими вратами —
И вдруг... святой налой пред ним,
Главы их под венцами;
В руках их свечи зажжены,
И кольца обручальны

На персты их возложены,
И слышен гимн венчальный...

Пребывание поэта в Дерпте, познакомив его с местной интеллигенцией и позволив усовершенствоваться в знании немецкого языка, раскрыло перед ним с еще большей полнотой сокровища германской литературы, из которой, как мы увидим вскоре, поэт стал выбирать бесценные перлы.

Хотя Жуковский и боялся сначала связать себя с императорским двором какими-либо особыми обязанностями, но пришлось покориться обстоятельствам. В конце 1817 года поэт был назначен учителем русского языка при великой княгине Александре Федоровне, будущей императрице, и с тех пор стал близок к царскому семейству. Все идиллические планы его о жизни в Дерпте или Долбине отодвинулись в далекое будущее. С этого времени, оставаясь поэтом, он понемногу стал натягивать на себя и мундир придворного. Друзья как будто замечали в нем перемену; Пушкин, как мы видели выше, переделал в эпиграмму стихи Жуковского «О бедном певце», а И.И. Дмитриев писал Тургеневу: «Кажется, поэт мало-помалу превращается в придворного; кажется, новость в знакомствах, в образе жизни начинает прельщать его...» Сильны соблазны жизни – они сокрушали людей и с более могучим духом, чем Жуковский. Может быть, и певец «Светланы» немного испортился в своем новом звании, но у него был такой большой запас гуманности и добродушия, что даже за вечно натянутой улыбкой придворного и под туго застегнутым генеральским мундиром люди беспристрастные не могли не видеть симпатичной души Жуковского и его всегдашней готовности прийти на помощь.

Прощаясь с Дерптом, Жуковский перевел две вещи Гете: «Утешение в слезах» и «К месяцу». В конце последнего стихотворения грустно звучало:

Лейся, мой ручей, стремись, —
Жизнь уж отцвела:
Так надежды пронеслись,
Так любовь ушла!

Глава IV. Поэзия и обязанности

Близость к дворцовому кругу. – «Для немногих». – Стихи на рождение цесаревича, будущего царя-Освободителя. – Милости и отличия. – Первая поездка за границу. – «Лалла Рук». – «Шильонский узник». – Отсутствие особенных симпатий к Байрону. – Отпущение «эсклавов» на волю. – Литературные собрания у Жуковского. – «Действительный холостяк». – Смерть Маши. – Стихи в память о ней. – Назначение наставником к будущему государю. – Отношение к 14 декабря 1825 года. – Заботы о воспитании ученика и план его образования. – «Прощай, поэзия!» – Смерть А.А. Воейковой. – Жуковский и Пушкин. – Их сближение. – Строфы из «Онегина». – В салоне Смирновой. – Смерть Пушкина. – Поездка с учеником по России. – У Кольцова, в Воронеже. – Отъезд за границу и обручение там с девицей Рейтерн. – Последнее «прости» родине

Итак, Жуковский, скромный обитатель Мишенского, любивший сельское уединение, «холмы и поля», стал царедворцем; он вошел в царскую семью как свой человек и сохранил ее привязанности до конца. Но и на этой «высокой чреде», исполненной искушений и соблазнов, он не переставал быть человеком. При том высоком назначении, которое ему вскоре предстояло, он становился уже исторической личностью, а близость к источнику милостей и богатства давала возможность упражнять свою гуманность в просьбах за несчастных и обиженных.

Когда знакомишься с жизнью поэта в это время, то ясно видишь, что в общении его с высокими друзьями царили простота и человечность, почти исключавшие этикет. Это главным образом практиковалось по отношению к женскому обществу дворца; но особа императора Николая своей величавостью и импозантностью, при свойственных этому государю воззрениях на личность венценосца, само собою, не допускала особенной близости. Из «Записок» Смирновой видно, как близок к дворцовому кругу был наш романтический поэт: его там считали «своим». Раз, например, Жуковский, не будучи приглашен на какое-то интимное собрание во дворец, не явился туда. Когда государыня узнала, что он стеснялся прийти, не имея приглашения, то объявила, что он – «свой», что он «родился приглашенным», и ему нечего ждать официальностей, что он – «всегда

желанный гость».

Жуковский усердно готовился к своим занятиям с ученицей, и, по всем данным, занятия эти шли успешно, что должно объясняться помимо умения учителя и талантливостью его слушательницы, образованной и с художественным вкусом женщины. Поэт составил для великой княгини особую грамматику, но главный интерес занятий с ученицей заключался в том, что она, страстно любя немецкую литературу, сделала указания поэту на пьесы, которые желала иметь в переводе, и с большим вниманием относилась к этим переводам. Такое параллельное чтение оригинала и переводов предоставляло хорошую возможность для сравнения подлинника с копией. Все эти переводы (например, знаменитой баллады Гете «Лесной царь»), указанные и вдохновленные великой княгиней, были напечатаны маленькими изящными книжками, носившими название «Для немногих». В описываемое время были переведены многие вещи, доставившие Жуковскому славу.

Зиму 1817/18 года поэт проводил с двором в Москве, еще разоренной и обгорелой. Здесь ожидалось разрешение от бремени великой княгини Александры Федоровны. Из писем Жуковского видно, как он был доволен своими новыми обязанностями. В отношении к нему чужих и так высоко поставленных над толпою людей он нашел то искреннее участие, которого тщетно добивался у родных в последнее время.

17 апреля 1818 года пушки с Кремля возвестили о рождении наследника у великого князя Николая Павловича. Этот ребенок – будущий царь-Освободитель, и его появление на свет Жуковский приветствовал вдохновенными стихами, вылившимися из сердца. Кому не покажется благородным и глубоко симпатичным хотя бы этот отрывок из стихотворения:

Да встретит он – обильный честью век!
Да славного участник славный будет!
Да на чреде высокой не забудет
Великого из званий: *человек!*
Жить для веков в величии народном,
Для блага всех – свое позабывать,
Лишь в голосе отечества *свободном*
С смирением дела свои читать!

Не нужно забывать, что эти прекрасные стихи явились в век

крепостного права, при надвинувшейся уже туче аракчеевщины и в обществе, где не раздавалось «свободного голоса».

История в будущем еще должна разобрать события минувшего царствования, и несомненно она найдет, что поэт заронил в душу своего будущего питомца светлые и добрые семена, плодом которых стали лучшие деяния покойного государя.

Нужно, прежде чем сообщать о дальнейшем, заметить здесь, что Жуковский, смотря серьезно на свое призвание, не мог по врожденной ему добросовестности только подлаживаться к дворцовым «веяниям», – он отстаивал свои воззрения в вопросах воспитания, и хотя в почтительной форме, но с твердостью защищал излюбленные принципы. Вообще говоря, знакомясь с его перепиской с членами царской семьи, видишь не придворного Полония, готового признать облако за верблюда или за ласточку, смотря по желанию принцев, а ласкового, но опытного Друга, способного даже на внушенный любовью выговор.

Отличия и милости посыпались на поэта. Российская академия избрала его в число своих членов. Но Жуковский не забывал на своем высоком посту обязанностей по отношению к человеку. И многие были обязаны ему облегчением своей участи и улучшением положения, о чем мы подробнее скажем ниже.

Болезнь великой княгини Александры Федоровны прервала на некоторое время занятия, и когда ученица Жуковского по совету врачей отправилась для восстановления сил за границу, поэт сопровождал ее туда.

Эта первая поездка по Европе живительно подействовала на Жуковского. Он познакомился со многими европейскими знаменитостями, в том числе и с «олимпийцем Гете». Этим знакомствам, конечно, благоприятствовало его почетное положение в свите великой княгини. В Берлине поэт был свидетелем великолепных празднеств, данных в честь великокняжеской четы. Между прочим, на придворном празднике был поставлен ряд живых картин на сюжет поэмы Томаса Мура «Лалла Рук», где явилась сама великая княгиня. Как придворный поэт Жуковский не должен был молчать по этому поводу, и у него вскоре уже создалось опозитизирование ученицы, явившейся в образе Лаллы Рук:

И блистая, и пленяя,
Словно ангел неземной,
Непорочность молодая
Появилась предо мной...

Под впечатлением виденного Жуковский перевел в Берлине поэму Томаса Мура «Пери и ангел». В эту же поездку переведена им «Орлеанская дева» Шиллера – одно из идеальнейших созданий великого поэта, представляющее, может быть вопреки историческим данным, Жанну д’Арк чересчур девственно-чистой; антиподом такого представления является, как известно, фривольная пьеса Вольтера «Pucelle».^[3]

Объездив часть Германии и Швейцарии, Жуковский познакомился с чудными памятниками искусства, с дивной природой и со многими известностями, в числе которых был и один из столпов германского романтизма – Тик.

В Швейцарии Жуковский посетил Шильонский замок. Из Веве, в лодке, с поэмой Байрона в руках, он совершил путешествие, чтобы осмотреть этот замок, где в XVI столетии томился женевец Бонивар. Жуковский осматривал подземелье и видел то кольцо, к которому прикреплялась цепь узника, и вытоптанную ногами заключенного впадину. Этой экскурсии русская литература обязана переводом знаменитой поэмы Байрона «Шильонский узник». Но, как и следовало ожидать, мягкий, мечтательный и смиренный Жуковский не особенно симпатизировал мрачному, титаническому гению британского поэта, и Байрон не состоял в числе излюбленных им образов.

Ах! не съ нами обитаеть
Генийъ истинъ кривоно! !
Лишь порою онъ навизитъ
Накъ въ небесахъ востанетъ!
Самъ онъ въ сердцѣ знае
Во тѣхъ мѣстахъ облакъ зеленой,
Летѣли тамъ птицы
При подземельѣ онъ порою
И во время зтоя здыкъ прорыва,
Тамъ кажда птица животноути,
Зубъ и тѣло и пѣно
Онъ съ душою вобрать!
А каждакъ нахъ поминаетъ,
Въ дакъ любви, у него съ виду
Въ камень кажда замиланетъ
Онъ пружало нуръ зблуду.

1821 Веве 29.

Жуковский

Автограф стихотворения В.А. Жуковского

Жуковский возвратился в Россию в начале 1822 года. Возможно, что виденная им культурная Европа и «свободная» Швейцария указали ему на неурядицы родины и на ее страшную язву – крепостных рабов. Впрочем, при свойственной Жуковскому гуманности Европа, так сказать, только переполнила чашу, и мы видим, что поэт по возвращении отпускает на волю крепостных, купленных на его имя книгопродавцем Поповым, а также дает вольную и своему единственному «рабу» Максиму с детьми. Для оценки указанного поступка надо помнить, что он совершился в крепостническом обществе за 40 лет до освобождения крестьян.

«Очень рад, – пишет Жуковский А.П. Елагиной, благодаря ее за исполнение этого поручения, – что мои эсклавы^[4] получили волю!» В pendant^[5] к указанному он сообщает, что не мог освободить от цензуры перевод известных стихов Шиллера:

*Человек свободным создан и свободен, —
Если б он родился и в цепях!*

Жуковский по возвращении в Петербург поселился с семейством Воейкова, принужденного оставить Дерпт, на Невском проспекте против Аничкова дворца. Поэт очень обрадовался приезду своей племянницы, несчастливой в замужестве. Александра Андреевна напоминала ему милое прошлое, к которому тяготела память поэта. Жуковского часто посещали друзья; у него бывали литературные собрания, оживлявшиеся участием изящной и остроумной хозяйки дома – Воейковой. Здесь был обласкан слепой Козлов; вся тогдашняя крупная литература была своей в салоне Жуковского: Батюшков, Тургенев, Крылов, Блудов, Вяземский, Карамзин и многие другие являлись частыми гостями добрых хозяев. Особенно шумно, среди многочисленного общества отпраздновал Жуковский сорокалетнюю годовщину своего рождения. В этом собрании Жуковский с добродушным юмором объявил, что теперь он вступил в чин «действительного холостяка».

В указанное время неожиданное событие потрясло душу поэта: почти вслед за его отъездом из Дерпта, куда провожал он Воейкову, 19 марта 1823 года умерла его первая любовь Марья Андреевна Мойер. Но та мистическая вера, которая жила с детства в душе поэта, явилась для него теперь подспорьем в перенесении этого горя. В письме к А.П. Елагиной от 28 марта 1823 года поэт, между прочим, говорит об умершей:

«Знаю, что она с нами и более наша, – наша спокойная, радостная,

товарищ души, прекрасный, удаленный от всякого страдания... Не будем говорить: „Ее нет“. С'est blasphème!..^[6] Ее могила будет для нас местом молитвы... На этом месте одна только мысль о ее чистой, ангельской жизни, о том, что она была для нас живая, и о том, что она ныне для нас есть небесная...»

Глубоко ошибается тот, кто сочтет это письмо лишь словами резонера, утешающего родственницу в ее потере. Наоборот, в нем он весь – чистый, милый Жуковский, с той верой, которая всегда сквозила в его поступках, в его переписке и поэзии. Эта вера в Промысл, в бессмертие, во что-то иногда неопределенное, но всегда светлое и святое очень характерна для поклонника идеалиста Шиллера и его истолкователя в русской литературе.

Маше Жуковский посвятил прекрасное стихотворение, приурочив его ко дню ее кончины:

Ты предо мною
Стояла тихо;
Твой взор унылый
Был полон чувств...
Он мне напомнил
О милом прошлом,
Он был последний
На здешнем свете!
Ты удалилась,
Как тихий ангел;
Твоя могила,
Как рай, спокойна...
Там все земныя
Воспоминанья,
Там все святые
О небе мысли!
Звезды небес,
Тихая ночь!

Чем-то благоуханно кротким, эфирным и меланхолическим веет от этих строк, и эти стихи могут служить вообще характеристикой поэзии Жуковского в той ее части, которая обнимает собственно лирику.

Следующие пять-шесть лет были малопродуктивными для Жуковского в литературном отношении. Может быть, на это частью влияла

и печаль по усопшей, но были и другие причины затишья творчества поэта: ему поручили обучать русскому языку невесту великого князя Михаила Павловича, Елену Павловну, а затем он должен был весь отдаться заботам по подготовке плана обучения будущего наследника престола, а также выработке подобного же плана и для великих княжон Марии Николаевны и Ольги Николаевны.



В. А. Жуковский. Гравюра XIX века

Воцарился Николай I, и Жуковский был назначен наставником к великому князю Александру Николаевичу. Конечно, к известному событию, ознаменовавшему собою начало этого царствования, Жуковский относился с нескрываемым ужасом.

«Милая Дуняша, – пишет он Елагиной из Петербурга в декабре 1825 года, – у нас все спокойно теперь. Но мы видели день ужасный, о котором вспомнить без содрогания невозможно. Но это – дело Промысла... Он показал России, что на троне ее – Государь с сильным духом... Теперь будущее исполнено надеждой...»

«Верить, любить и надеяться» – было постоянным девизом Жуковского, несмотря на то, что события ясно говорили поэту о невозможности осуществления многих и многих даже скромных надежд.

Здоровье поэта, однако, становилось незавидным, и он с трудом взбирался, чувствуя слабость и одышку, по высокой лестнице в свою квартиру, отведенную ему в Зимнем дворце. Его отпустили за границу

лечиться; в мае

1826 года он туда и отправился. В Эмсе поэт встретился со своим дерптским приятелем Рейтерном. Жуковский и не подозревал тогда, что в семье приятеля растет девочка, которая через пятнадцать лет будет подругой его жизни и даст ему то «семейное счастье», о котором он давно просил у судьбы.

Лечение восстановило силы поэта, и он с энергией и усидчивостью принялся за приготовления к своей должности наставника будущего государя. Из писем поэта мы видим, что его озабочивала всякая мелочь; он, между прочим, собирал за границей библиотеки на французском и немецком языках для своего питомца. В Россию Жуковский вернулся в октябре 1827 года.

Мы не можем из-за размеров нашего очерка подробно останавливаться на заботах Жуковского о своем ученике и на плане образования последнего: это потребовало бы от нас много места. Скажем только, что все силы свои в течение пяти-шести лет поэт отдавал этому делу, сознавая всю высокую цель его и серьезную ответственность, взятую на себя. В обширном и разработанном в мельчайших деталях плане обучения цесаревича показаны все те науки, которые он должен был изучить, постепенно переходя от простого к более сложному; указано время и количество занятия, а также и самый способ преподавания.

«В голове одна мысль, в душе одно желание, – пишет поэт к Анне Петровне Зонтаг, – не думавши, не гадавши, я сделался наставником Наследника престола! Какая забота и ответственность! Занятие питательное для души! Цель для целой остальной жизни! Чувствую ее великость и всеми мыслями стремлюсь к ней!.. Занятий множество. Надобно учить и учиться, время захвачено... Прощай навсегда, поэзия с рифмами!!.»

Жуковский присутствует на уроках, следит за всеми частностями преподавания, выбирает учителей. Что он за это время был очень занят, видно и из «Записок» Смирновой: ее завлекательный салон поэт в эту пору не особенно часто посещал, отговариваясь «делами». Но, как ни много было обязанностей у Жуковского, это не мешало ему быть доступным для друзей и знакомых.

Обилие работы, однако, не изменяло пунктуальных привычек поэта. Как бы поздно ни ложился он, – вставал всегда в пять часов утра. В квартире его царил образцовый порядок, хотя это не мешало ей быть изящной и уютной. На большом письменном столе красовались бюсты царской фамилии, в углах комнат – гипсовые слепки античных статуй, на

стенах висели картины и портреты. Обычная поза Жуковского дома была следующая: он сидел на турецком диване, поджав ноги, покуривая табак из длинного чубука с янтарным мундштуком. Форма его головы, желтоватое лицо, небольшие, но быстрые глаза, тучное телосложение, басовый голос – все это являлось признаками, указывавшими на его происхождение от турчанки.

В феврале 1829 года Жуковского постигло новое несчастье: скончалась в Италии давно уже болевшая А.А. Воейкова. Все эти утраты, указывая на горести земной жизни, очень действовали на душу поэта, может быть склонного уже думать и о собственном конце. Но и в связи с этим событием мы опять встречаем в Жуковском те черты, которые видели ранее.

«Саша, ангел мой, – пишет он Воейковой за несколько дней до ее смерти, – может быть, ты уже стала ангелом во всех отношениях. В твоём переходе в жизнь, столь достойную тебя, есть что-то чистое. Разве ты покидаешь меня? Нет, ты становишься для меня осязательным звеном между здешним миром и тем... Твоя душа сотворена для того, чтоб с полной ясностью встретить переход в лоно Божие...»

Эти строки, если бы они не были внушены чистой верой, могли бы показаться жестокой насмешкой здорового человека над умирающей женщиной, к которой они были адресованы.

Трогательную заботливость обнаружил несребролюбивый Жуковский об участии оставшихся после подруг его детства сирот. Он не жалел ни времени, ни средств, ни трудов, чтоб только обеспечить их будущность. И когда читаешь письма поэта, посвященные этому вопросу, то видишь всю чистоту кроткой его души.

Эта же кристальная чистота видна и в отношениях Жуковского с Пушкиным, перед которым завистливый романтик скромно склонял свою голову как перед гением русской поэзии.

Пушкин был на 16 лет моложе Жуковского, что не помешало им сблизиться и стать друзьями. Еще в лицее Жуковский отметил талантливого юношу. По выходе из лицея Пушкин, записанный в «Арзамас», встречается там с полюбившимся ему ранее и уже знаменитым поэтом. Бурная, шаловливая жизнь автора «Онегина» доставила немало забот его маститому другу. Только благодаря хлопотам Жуковского Пушкину было возвращено право въезда в столицы, и после долгого изгнания он 8 сентября 1826 года снова появляется в Петербурге. Особенное сближение поэтов относится к 1831 году: оба они по причине холеры жили продолжительное время в Царском Селе. Здесь у них

затеялось что-то вроде литературного турнира; тут Жуковским написаны «Спящая царевна», «Война мышей и лягушек», «Сказка о царе Берендее». Но все названные сказки далеко уступают неподражаемому пушкинским образцам, в которых брызжет народность, тогда как сказки Жуковского скорее являются переделкой иностранных произведений этого сорта, подделанных под русскую «народность». Пушкин сердечно отплачивал Жуковскому за его дружбу, обмолвившись насчет «певца» лишь одной-двумя эпиграммами. Он признавал, что многим обязан автору «Светланы»... В недавно найденных строфах «Евгения Онегина» мы читаем по адресу Жуковского:

И ты, глубоко вдохновенный,
Всего прекрасного певец
Ты, идол девственных сердец, —
Не ты ль, пристрастьем увлеченный,
Не ты ль мне руку подавал
И к славе чистой призывал?

В «Записках» Смирновой есть много интересного о знаменитостях нашей литературы... Салон этого «небесного дьяволенка», как звал Жуковский Смирнову, собирал цвет интеллигенции, — увы! — не особенно пышный. Время там проходило в игривой, остроумной беседе... Наиболее частыми посетителями у Смирновой были Пушкин, Жуковский, Вяземский, Карамзины. Бывал там и «бедный, грустный, упрямый хохол», как зовет Смирнова Гоголя. Жуковский был с Пушкиным на «ты». Их звали «Орест» и «Пилад».

Что Жуковский глубоко ценил автора «Онегина», видно хотя бы из такого эпизода. Увидев как-то Гоголя записывающим за Пушкиным, он сказал «хохлу»:

— Хорошо делаешь, что записываешь за Пушкиным: каждое его слово драгоценно...

— Жуковский — отец-кормилец моей музыки! — говорил Пушкин у Смирновой.

Интересно, что Жуковский сватался за Смирнову, но та отказала; она, однако, братски любила «Жука», как называла поэта. Конечно, этот отказ не испортил отношений друзей.

— У Жука небесная душа! — сказал раз, разговаривая со Смирновой, Пушкин.

– Да, хрустальная душа!

– Всякий раз, – закончил Пушкин, как мне придет дурная мысль, я вспоминаю и спрашиваю, что сказал бы Жуковский. И это возвращает меня на прямой путь...

«Я никого и ничего не знаю, – говорит Смирнова, – лучше и добрее Жуковского. Как он тревожится по поводу Рудого Панька (Гоголь)... Он подбадривает Гоголя... Жуковский – воплощенная, бесконечная доброта!»

А Пушкин добавил:

– Во всей его обширной особе не найдется жолчи, чтоб убить зловредную муху!

Мы привели эти подробные выдержки, чтоб лучше показать, какие отношения существовали между поэтами, и для характеристики Жуковского, к чему, впрочем, мы еще возвратимся.

И старому Жуковскому пришлось закрыть глаза своему молодому гениальному другу!

29 января 1837 года скончался Пушкин, сраженный рукою пустого Дантеса, приехавшего в Россию «на ловлю счастья и чинов».

Сердечно оплакал вместе со всеми, кто способен был в России мыслить, Жуковский кончину друга. В известном письме к отцу поэта Жуковский описывает последние дни Пушкина в трогательных и полных искренней печали словах.

«Нашего Пушкина нет! – пишет он. – В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, светлая надеждами... Россия лишилась своего любимого национального поэта! У кого из русских с его смертью не оторвалось чего-то родного от сердца?»

Эти полные грусти слова делают честь скромному Жуковскому, без колебаний отдающему почившему пальму первенства в том деле, в котором сам Василий Андреевич был великим мастером. И этой скромности могли бы позавидовать многие напыщенные бездарности с «грошовой амуницией и рублевой амбицией», которых немало встречается во всех областях искусства.

Жуковскому достался от Пушкина знаменитый перстень-талисман, который он хранил как драгоценное воспоминание о поэте.

В 1832 году Жуковскому снова пришлось лечиться и путешествовать. Он был в Италии и прожил несколько недель в Риме. Письма, писанные им оттуда, представляются как по форме, так и по интересным подробностям

образчиками тогдашней изящной прозы. К этому времени относится окончание им переложения на русский язык повести де ла Мотт Фуке «Ундина». Жуковский чувствовал слабость к этому своему детищу и хотел всячески украсить издание перевода. К книге были сделаны Майделем прекрасные рисунки. «Ундина» появилась, изданная Смирдиным, в 1837 году.

По достижении учеником Жуковского совершеннолетия решено было дать ему возможность познакомиться с Россией. Две трети 1837 года были посвящены путешествию великого князя по родине. Маршрут и «путеуказатель» были составлены Жуковским и Арсеньевым. В это-то путешествие сопровождавший цесаревича поэт, будучи в Воронеже, обласкал Кольцова, еще ранее узнав его в Петербурге. «Прасол»^[7] был в восторге от оказанной ему поэтом-царедворцем чести, о чем восторженно писал Краевскому. В это же путешествие Жуковский посетил и Мишенское, произведшее на него грустное впечатление своим запустением.

После путешествия по России Жуковский сопутствует своему царственному питомцу по Европе. Там он ознакомился с поэмой Хальма «Комоэнс» и нашел в ней мысли и положения, напоминавшие ему собственное душевное состояние. Он перевел эту поэму и с особенной любовью повторял ее последний стих:

Поэзия есть Бог – в святых мечтах земли!

Воспитание наследника и великих княжон было окончено. Но Жуковскому скоро пришлось сопровождать великого князя в Дармштадт по случаю обручения питомца с принцессой дармштадтской. Жуковский думал после небольшого заграничного путешествия возвратиться в Россию и поселиться в Муратове с Екатериной Афанасьевной Протасовой и ее внуками. Но человек предполагает, а судьба располагает. В эту поездку он обручился с дочерью своего старого друга Рейтерна, молоденькой девушкой, тогда как поэту было уже 57 лет. Он получил то «семейное счастье», о котором мечтал, но вскоре, однако, сам сказал о своем венце, что в него вплетены «терния»...

До свадьбы Жуковский поехал в Россию. По случаю бракосочетания наследника поэту были оказаны новые почести и милости. Он, подобно «олимпийцу Гете», получил титул тайного советника, и ему сохранено было все то очень большое содержание, которое он получал по должности наставника.

Мы должны обратить внимание на прекрасный поступок Жуковского, характеризующий его бескорыстие и доброту. Будучи сам женихом и в силу семейного долга обязанный думать о средствах для собственной семьи, поэт, однако, всю выручку от продажи своего имения (115 тысяч рублей), разделив на три части, отдал трем дочерям покойной Александры Андреевны Воейковой.

Но каким образом устроился этот брак с молоденькой девушкой? Жуковский познакомился с девицей Рейтерн в 1833 году, когда ей было не более 12 лет. Имя Жуковского в семействе Рейтерна произносилось с благоговением, чему, может быть, немало способствовало и то обстоятельство, что по ходатайству поэта Рейтерн был назначен придворным живописцем, с дозволением, однако, жить за границей. Почтенный, приятный и радушный старик Жуковский не мог не произвести впечатления на чувствительную девочку. Она знала, что он – знаменитый поэт, что его произведениями восторгается много людей, в том числе и ее отец, и в головке восторженной поклонницы имя Жуковского окружается ореолом и поэтическим венцом. Нервная, мечтательная и склонная к мистицизму девушка давно уже лелеяла это чувство привязанности к поэту.

«За четверть часа до решения судьбы моей, – пишет Жуковский Екатерине Ивановне Мойер (дочери Маши), – у меня и в уме не было почитать возможным, а потому и желать того, что теперь составляет мое истинное счастье. Оно подошло ко мне без моего ведома, без моего знания, послано свыше, и я с полной верою в него, без всякого колебания, подал ему руку».

Однако с тяжелым чувством покидал он родину, как будто предчувствуя, что больше ее не увидит. 21 мая 1841 года совершилась свадьба поэта в церкви русского посольства в Штутгарте. Все последующие годы до самой смерти Жуковский провел за границей, и ему не только не пришлось поселиться на родине, как он мечтал раньше, но даже не пришлось и увидеть

Родного неба милый свет!

Глава V. Жуковский в обществе и дома

Общая характеристика его прошлого. – Отношение к молодым литераторам. – Ходатайства за декабристов. – Участие в судьбе Шевченко. – Лотерея спасает талант для родины. – Помощь Никитенко. – Письмо М.И. Глинки. – Мнение о восточном вопросе. – Между порядком и революцией. – Мнение о смертной казни. – Ее романтический ритуал по-Жуковскому. – Любовь молодежи к Жуковскому. – Остров в Царском Селе. – Добродушие и юмор поэта. – Вечера у Смирновой. – Поэт склонен к сибаритству и любит покушать. – Сцена с Гоголем. – Художественная разносторонность. – Отношение Николая I к поэту. – Доступность и простота Жуковского

Мы дошли до последнего периода в жизни Жуковского: до его семейной истории и пребывания за границей, вдали от родины, к которой он так привык и которую несомненно любил. В эти последние годы было немало печальных дней для поэта: давала себя чувствовать старость. Тоска по любимой родине, а также и некоторые печальные обстоятельства семейной жизни – все это подливало горечи в чашу добродушного поэта. Но прежде чем продолжать дальше, мы оглянемся на прошлое героя этого очерка. Мы видели его живым и милым мальчиком в Мишенском, «поля и холмы» которого он так задушевно воспел. Нам знакомы его первые поэтические успехи и деятельность в качестве редактора «Вестника Европы». Жуковский знал очень многих лучших русских людей своего времени и в молодости, в союзе с прогрессивными литературными силами, боролся в «Арзамасе» с отживающими традициями прошлого. Как наставник покойного государя он заслуживает нашей признательности за то, что заронил в душу питомца в те годы, когда сердце глубоко воспринимает впечатления, семена, которые дали благородные всходы в виде освободительных реформ минувшего царствования. О его литературных заслугах мы скажем в конце очерка, а теперь дополним симпатичный образ поэта новыми данными о нем как о художнике, чутко относившемся ко всякому вновь появляющемуся дарованию, и как о добром человеке, а также расскажем о его привычках и некоторых мелочах, которые покажут, каким он был в частной жизни.

Мы уже знаем отношение Жуковского к Пушкину, которому он

уступал со скромностью первое место в русской поэзии. Дарование «прасола-поэта» А.В. Кольцова, как нам известно, встретило сочувственную оценку со стороны Жуковского. Творец художественной песни был обласкан Василием Андреевичем и появлялся на его знаменитых «субботах» в Зимнем дворце. А о посещении Жуковским семейства Кольцовых в Воронеже у родных «прасола» до сих пор сохранились несколько легендарные воспоминания. Многие потом прославившиеся писатели были обязаны успехом своих первых шагов Жуковскому; многим он помогал и облегчал участь. Целый ряд имен мелькает перед нами: слепой Козлов, Гоголь, Языков, Батюшков, Баратынский и другие. Пост, который занимал Жуковский, обязывал его к известному консерватизму и осторожности в ходатайствах за людей. Но следует сказать беспристрастно, что поэт в этом отношении гораздо более подчинялся влечениям своего сердца, чем соображениям, которые бы всегда имелись в виду ловким придворным, безумно дорожающим своим положением и опасаящимся всякого неосторожного шага.

Яснее всего эта черта Жуковского выразилась в его ходатайствах за декабристов. Известны его хлопоты о Николае Тургеневе.

«Прошу на коленях Ваше Величество, – говорится в одной из просьб Жуковского за Тургенева к Николаю I, – оказать мне милость. Смею надеяться, что не прогневаю Вас сею моею просьбою. Не могу не принести ее Вам, ибо не буду иметь покоя душевного, пока не исполню то, что почитаю священнейшею должностью...»

Во время путешествия по России со своим питомцем Жуковский употребляет все усилия, чтобы помочь удаленным в Сибирь участникам 14 декабря 1825 года, и воздействует в этом направлении на великого князя. Описав всю тяжесть положения ссыльных, Жуковский в письме на имя государыни заявляет:

«И всему этому будет исцелением одно минутное появление царского сына, которое осветит и дальние края посещенной им Сибири...»

Добрим словом нужно помянуть Жуковского и за Шевченко.

Тарас Григорьевич Шевченко, как известно, был крепостным киевского помещика и служил казачком у него.

Он с детства чувствовал страсть к живописи и часто, путешествуя с барином, тайком увозил с постоянных дворов лубочные картинки, за что был высечен розгами. Помещик отдал его в 1832 году одному петербургскому маляру. Крепостной живописец в светлые весенние ночи бегал в Летний сад рисовать со статуй. Он познакомился с каким-то художником, который представил его конференц-секретарю Академии художеств В.И. Григоровичу. Последний обратился за помощью к Жуковскому. Поэт попросил Брюллова написать с себя портрет, который с помощью графа Виельгорского разыграли в лотерею за 2500 рублей, на что и купили свободу Шевченко 22 апреля 1838 года. Очень милая характеристика общественных нравов: только благодаря случайной лотерее, принесшей средства для вызволения из «крепостных пут» Шевченко, родина приобретает талантливого поэта...

Но кроме вышеуказанных немало еще и других «освободительных» подвигов совершено Жуковским. Так, из «Дневника» Никитенко видно, что поэт помог ему выкупить из крепостной неволи мать, которую вначале не соглашался отпустить на волю магнат-самодур. Никитенко, выражая негодование к порядку вещей, обуславливающему подобные явления, заканчивает строки своего «Дневника» словами: «Да благословит Бог Жуковского!»

Если бы мы вздумали приводить все доказательства гуманности и сердечной отзывчивости Жуковского, то нам, вероятно, пришлось бы исписать целую книгу свидетельствами его современников. Но мы ограничимся несколькими отзывами лиц, близко знавших поэта.

М.И. Глинка, принося своей сестре Л.И. Шестаковой в дар собрание сочинений Жуковского, писал ей:

«Прошу тебя, милая сестра, принять благосклонно мое это усердное приношение. В.А. Жуковскому обязан я многими, многими приятными поэтическими минутами в жизни; он же навел меня на оперу „Жизнь за царя“. Чистая, благородная душа Василия Андреевича ясно отразилась в его творениях...»

«Жуковский, – пишет Сологуб, – был типом душевной чистоты, идеальнейшего направления и самого светлого, тихого добродушия, выражавшегося оригинально...»

И такой безобидный, корректный и, можно сказать, святой человек считался... «красным» когда-то. А после его кончины Погодин должен был испрашивать у министра разрешение окружить в «Москвитянине» черным

бордюром извещение о смерти поэта!

Письма Жуковского представляют хороший и интересный материал для его характеристики. Отрывки из посланий к родным мы приводили выше... Очень интересны письма поэта к покойному великому князю Константину Николаевичу. Мы дадим выдержки из них, так как там видна независимая манера Жуковского в переписке с сильными мира сего, а с другой стороны – рельефно проступают убеждения поэта. Так, в большом письме от 21 октября 1845 года поэт, отвечая на послание великого князя, между прочим пишет:

«Византия – роковой город. Ею решилось падение Рима. С тех пор, как она стала второю главою Империи, она сделалась предметом хищничества диких орд извне и вертепом гнусного разврата внутри... В Цареграде православные русские цари исчезли бы для России за стенами султанского сераля... нет, избави Бог нас от превращения русского царства в империю Византийскую. Не брать и никому не давать Константинополя – этого для нас довольно. Нет, России, для ее блага, для ее истинного величия, не нужно внешнего ослепительного великолепия; ей нужно внутреннее, не блистательное, но строго-постоянное национальное развитие...»

В этом отрывке выражаются взгляды Жуковского на восточный вопрос, а также на нужды России.

«Лучше тех границ, – продолжает поэт, – которые теперь имеет Россия, и выдумать ей невозможно (хотя и теперь уже есть для нее бедственные излишки); но горе, если мы захотим распространяться!»

Очень характерно это отсутствие шовинизма в певце, который ранее «пламенел» в своих патриотических гимнах и одах.

В письме от 5 сентября 1841 года поэт, говоря об общественной жизни, пишет:

«Один строгий порядок, вследствие коего все на своем месте, еще не составляет благоденствия общественного... При порядке должна быть жизнь. Порядок есть и на кладбище, и там его ничто не нарушает, но это порядок гробов. Чтоб было в

государстве благоденствие, необходимо нужно, чтоб все, что составляет жизнь души человеческой, цело без всякого утеснения...»

Но как ни скромны эти пожелания поэта, они все-таки были горькой иронией над тогдашней жизнью нашей родины.

«Жизнь, – говорит он в письме от 28 октября 1842 года, – между неподвижностью и разрушением. *Останавливать* движение или насильственно *ускорять* его – равно погибельно. Это равно справедливо и в жизни частного человека, и в жизни народа. Государи и князья живут двойною жизнью: народною и своею. Как *простые* люди они должны понимать свое время, должны поставить себя на высоту своего века своим всеобъемлющим просвещением, своею непоколебимою правдою, основанною, с одной стороны, на святой любящей правде Христа, а с другой – на строгой правде закона гражданского. Как *представители народа* они должны жить его жизнью, т. е. уважать его историю, хранить то, что создали для него века, и не *самовластно*, а следуя указаниям необходимости, изменять то, что эти же творческие века изменили и что уже само собою стоять не может... Одним словом, движение тихое есть *порядок* и благоденствие, движение насильственное есть *революция*...»

Из этих выдержек ясно видна корректность политических убеждений Жуковского; ни по самому его общественному положению, ни по мягкости душевной, ни по традициям, оковывавшим тогдашнее общество, мы бы не могли ждать от него большего... И во всяком случае здесь слышен голос человека, стоящего хотя бы за некоторое развитие и право и довольно твердо говорящего об этом власть имеющим. Ниже мы приведем выдержки из заграничных писем Жуковского, относящихся к 1848 году, когда в Европе царила «анархия»... Мы увидим тогда, как возмущался поэт, любивший «тихую пристань» и *dolce far niente*,^[8] этими «буйствами черни».

Характеризуя взгляды Жуковского на разные общественные явления, мы считаем небезынтересным привести мнение его о смертной казни. В этом мнении мы угадываем романтического поэта, для которого указанный акт «людского правосудия» представляет что-то мистически знаменательное. Взгляд Жуковского на этот предмет напоминает одну из

тех баллад с таинственными подробностями, которые он переводил. Вместе с тем здесь мы встретимся и с пиетизмом, составлявшим впоследствии удел поэта, а также и со странным смешением понятий, в которое впадают даже очень гуманные люди.

Жуковский, вспоминая об ужасной по своим подробностям казни над Манингами, возмущается совершением экзекуций при балаганной обстановке, в присутствии жестокой, балагурящей и наглой толпы.

«Что же делать?» – спросите вы, – говорит поэт дальше. – Уничтожить казнь? Нет! *Страх* казни есть то же в целом народе, что *совесть* в каждом человеке отдельно. Не уничтожайте казни, но дайте ей образ величественный, глубоко трогаящий и ужасающий душу... Дайте ей характер *таинства*, чтоб всякий глубоко понимал, что здесь происходит нечто, принадлежащее к высшему разряду, а не варварский убой человека, как быка на бойне... Казнь не должна быть публичной... Она должна быть окружена таинственностью страха Божия... Пусть накануне казни призовут христиан на молитву по церквам о душе умирающего брата... Внутри темницы и на месте казни все должно иметь характер примирительно христианский... Осужденный знает, что не будет предан на поругание толпы, что из темницы перейдет чрез церковь в уединение гроба... На пути от церкви к месту казни он будет провожаем пением, выражающим молитву о его душе, и это пение не прежде умолкнет, как в минуту его смерти... И когда это будет совершаться внутри ограды, вокруг которой идут толпы народа, – двери этой ограды будут заперты; из-за нее будет слышно только одно умоляющее пение... Такой образ смертной казни будет в одно время и величественным актом человеческого правосудия, и убедительною проповедью для нравственности народной...»

Широкими романтическими штрихами набросана в приведенной нами обширной выдержке картина казни, напоминающая сцену из «Трубадура». Но уже одно сопоставление имени Христа с проявлением людской жестокости к провинившимся членам общества, может быть, несчастным жертвам его собственного неустройства, нарушает прелесть этой картины. И если отвратителен вид жадной и жестокой толпы, смакующей подобные зрелища, то и ритуал казни по-Жуковскому кажется профанирующим кроткое учение Христа.

Мы достаточно уже ознакомились со светлой личностью Жуковского и с его убеждениями. Конечно, в этих убеждениях многое для нас устарело и даже лучшим людям того времени казалось не особенно прогрессивным. Но не забудем, что тогда был век Аракчеевых, Магницких и Руничей; тогда считался деятелем даже Булгарин, написавший, например, донос на Краевского за то, что тот непочтительно относится к Жуковскому, а между тем последним «написан народный гимн»... Мы видели доброту и отзывчивость Жуковского. Всех он привлекал своей симпатичностью. В особенности льнули к нему дети, которые более взрослых чутки в распознавании добрых людей. Много есть указаний на то, как хорошо относилась к нему молодежь, в том числе и его августейшие питомцы. В Царском Селе, где последние проводили лето, молодежи был отведен остров на пруде; дети засадили его деревьями и цветами, сами выстроили кирпичный домик и устроили в нем мебель. Впоследствии цесаревич поставил в этом домике бюст Жуковского как воспоминание о счастливейших днях детства. Жуковский, писавший для своих питомцев шуточные стихотворения, в одном из них описывает этот «райский» уголок Царского Села.

Потом, когда Жуковский сам стал отцом, он придумывал для детей всевозможные игры, сочинял для них учебники, таблицы и писал стихи, украшающие теперь детские хрестоматии.

Никто бы не мог подумать, что меланхолический и скорбный в своих произведениях Жуковский был в жизни очень веселым и с несомненной юмористической жилкой. В его литературной деятельности этот юмор почти не выражался, а если и выражался, то весьма слабо. Известны, например, его комические протоколы заседаний «Арзамаса», так называемые «долбинские» стихотворения, целый ряд посланий, например к Гнедичу:

Сладостно было б принять мне табак твой, о, выпренный
Гнедич,
Буду усердно, приявши перстами, преддверием жадного носа,
Прах сей носить благовонный и, сладко чихая, сморкаться;
Будет платкам от того помаранье, а носу великая слава!

Несколько тяжеловесный юмор можно найти и в его сказках: «Война мышей и лягушек», «Кот в сапогах» и так далее. Но во всяком случае эти произведения не являются самыми лучшими, характерными для таланта

Жуковского. Между тем в жизни он был большой юморист и весельчак, хотя эта веселость с годами и одолевавшей его тучностью несколько убывала.

В салоне Смирновой, о котором мы говорили выше, царили непринужденность и простота, и там-то Жуковский, Пушкин, Вяземский и другие соперничали в остроумии и шутках. Жуковского там звали «Жук» и «Бычок» – последнее прозвище связано с тем, что он, имея густой басовый голос, при смехе мычал. Пушкина в кружке Смирновой величали «Сверчком» и «Искрой». Когда Смирнова надевала белое платье (она была жгучая брюнетка), Жуковский звал ее «Мухой в молоке». Смех, шутки, пение разнообразили времяпрепровождение этого кружка. Но часто происходили и серьезные разговоры, где Пушкин поражал блеском и красотой своих мыслей, а Жуковский, как мы и раньше сказали, обнаруживал солидную начитанность.

Доброту Жуковского многие эксплуатировали, но горькие опыты жизни все-таки не приучили его быть более осторожным в оказании помощи. Из «Записок» Смирновой мы, между прочим, узнаем, что поэт давал деньги на образование черногорских студентов и просил Смирнову устроить сбор в пользу сербских.

В зрелые годы, когда кровь не так уже «кипит» и нет «избытка силы», Жуковский обнаруживал некоторую склонность к неге, сибаритству. Он любил свой халат, туфли и янтарный мундштук, и вся его фигура, дышавшая благодушием, производила впечатление симпатичного бонвивана. Уютная и удобная обстановка квартиры его дополняла общее впечатление. Смирнова сообщает, что он любил и покушать, причем галушки и кулебяка были любимыми блюдами поэта, страсть к которым разделял и Гоголь. От всей фигуры Жуковского, обыкновенно у себя дома сидевшего с трубкой, с поджатыми ногами на широком диване, веяло чем-то патриархальным, мирным и ласковым.

Раз пришел к Жуковскому Гоголь – спросить мнение о своей пьесе. После обеда Гоголь стал читать. Жуковский, любивший в этот час подремать, уснул.

– Я просил вашей критики... Ваш сон – лучшая критика! – сказал обиженный Гоголь и сжег рукопись.

Относительно скромности Жуковского как писателя мы не будем приводить многих примеров: она всем известна. Когда у Смирновой Пушкин стал говорить, что Жуковский – его учитель, Василий Андреевич покраснел, как юная девушка. Жуковский жаловался Никитенко на «Отечественные записки», которые очень хвалили поэта, так что тому было

неловко.

– Странно, – добродушно при этом заметил Жуковский, – меня многие считают поэтом уныния, а я склонен к веселости, шутливости и карикатуре!

Жуковский был разносторонен по части художественного. Он пел, рисовал акварелью и масляными красками, недурно гравировал. Все это вместе с симпатичной наружностью делало его дорогим во всяком обществе, и немудрено, что он имел такой большой успех даже в высшем свете. Император Николай I очень уважал Жуковского, исполнял его просьбы и часто подолгу беседовал с ним. Уделяя время и на разговоры с Пушкиным, государь раз сказал последнему:

– Про наши беседы говори только с людьми *верными*, например, с Жуковским.

Но все эти почести, все бесчисленные ордена, которые получил певец «Светланы» как от Николая I, так и от многих европейских государей, и чин тайного советника не сделали Жуковского гордецом и вельможей, отгороженным от толпы китайской стеной, что, как известно, нередко случается с людьми, когда их возносит судьба: он до конца жизни сохранил свою приветливость и доступность для всех.

Глава VI. Последние годы жизни

«Семейное счастье». – Недовольство «материализмом» в жизни и литературе. – Письмо к императрице Александре Федоровне. – Поэтическая производительность Жуковского. – Орел-Гомер и паук-Жуковский. – «Одиссея» и «Илиада». – Рождение дочери и сына. – Печали. – Вера в таинственное. – Привидение в Дюссельдорфе. – Рейтерны и Гоголь. – Их мистицизм. – «Капитан Бопп» и «Выбор креста». – Политические волнения. – Отрицательное отношение к ним поэта. – Святая Русь. – Переписка с великим князем Константином Николаевичем. – Болезнь жены Жуковского. – План о нейтрализации Иерусалима. – Мечты о поездке на родину. – Лебедь. – Болезнь глаз. – Приглашение священника. – Суета сует! – Смерть поэта. – Его лебединая песня

Жуковский не ожидал, что ему не придется увидеть родины и что смерть закроет его глаза вне любимой России. Он несколько раз порывался вернуться домой, но болезни его самого и жены, а также холера, свирепствовавшая в России, мешали осуществлению лелеемых в душе планов.

С женитьбы началась новая эра в жизни Жуковского. «Семейное счастье» поздно пришло к нему; у него, «действительного холостяка», как он шутливо звал себя прежде, образовался уже набор известных привычек, которые теперь сплошь и рядом нарушались. Мягкость Жуковского и его сострадательное сердце нередко подвергались испытаниям то из-за часто болевшей жены, то из-за любимых детей. Отсюда становятся понятными его письма к друзьям, в которых слышатся затаенные жалобы на свое положение.

«Промысел Божий, – пишет он А.О. Смирновой, – надел на мою беззаботную жизнь, сохранившую до старости детскую беспечность, венец семейного счастья, и это счастье досталось мне именно такое, какого я желал во сне и наяву; но венец этот есть венец божественный; следственно, в него должны быть необходимо вплетены терны из этого венца, перед которым все другие земные венцы исчезают... Я отдан в учение терпению;

сначала было весьма трудно и от непривычки неловко...»

Разлука со многими хорошими друзьями и родными тоже не могла не действовать угнетающе на поэта. К общим причинам могло примешиваться и частное недовольство тем, что поэзия романтизма, которой он явился провозвестником на Руси, не играла уже главной роли в литературе и что его имя, может быть, уже ступеньвалось перед другими именами, гремевшими там... После Пушкина теперь ярко засияла звезда Гоголя. По свойствам своего таланта, по традициям, на которых он основывался, и по своим душевным качествам Жуковский не мог особенно сочувствовать реалистической литературе. Отголосок такого взгляда на современную словесность можно усмотреть в его письме (от 19 октября 1849 года) к великому князю Константину Николаевичу.

«Что значит отсутствие поэзии, – пишет он, – это ясно показывает наше бедственное, прозаически-разрушительное время, в котором все, одной душе принадлежащее, – все святое, божественно-историческое уничтожено. Дорого, свято и уважаемо теперь только то, что можно ощупать руками, что можно законно или незаконно положить в карман, что можно счесть на счетах или свесить: грубый материализм властвует, всякая безусловная вера смешна...»

Первый год супружества Жуковский, если судить по его произведениям и переписке, был в хорошем расположении духа. В это время им написаны сказки: «Об Иване-Царевиче и сером волке» и «Кот в сапогах», исполненные известной веселости. В письме к императрице Александре Федоровне в 1842 году он сообщает о довольстве своей участью. Описав дом в Дюссельдорфе, где жил, поэт продолжает:

«Там провел я мирно и однообразно десять месяцев, совершенно отличных от всей прошлой моей жизни. В это время, будучи предан исключительно жизни семейной, я познакомился с нею коротко. Знаю теперь, что только в ней можно найти то, что на земле можно назвать счастьем; но также знаю, что это счастье покупается дорогою ценою...»

Хотя поэт и говорит о «счастьи», но с такими оговорками, что они заставляют сомневаться в огромности этого счастья.

Первые годы семейной жизни были довольно производительны для Жуковского в литературном отношении. В начале 1842 года он кончил «Наля и Дамаянти». Верный своему уже ранее усвоенному поэтическому призванию, поэт мало обращает внимания на бегущую мимо него действительную жизнь с ее горем и радостями, а живописует художественной кистью минувшее. Увлечшись произведениями древнеиндийской литературы, он решился перевести (с немецких переводов Рюккерта и Боппа) из индийского эпоса часть «Махабхараты», изображающую трогательную историю любви Наля и Дамаянти.

Русским читателям знакома эта поэма Жуковского, большие достоинства которой составляют сделанные прекрасным поэтическим языком описания роскошной природы Индии и живость рассказа вместе с трогательностью в изображении печального романа героев.

В это же время поэт начал перевод (с немецкого переложения) «Одиссеи», который был закончен в 1849 году. Прибавим, кстати, что Жуковским переведены и начальные песни «Илиады».

Поэт давно уже лелеял мысль о переводе «старика Гомера». На перевод «Одиссеи» он смотрел как на высшую задачу своей поэтической деятельности и придавал этому труду большое значение, с особенной любовью занимаясь им.

«Новейшая поэзия, – писал он к великому князю Константину Николаевичу, – конвульсивная, истерическая, мутная, мутящая душу, мне опротивела; хочется отдохнуть посреди светлых видений первобытного мира...» Дописывая «Одиссею», он сообщал: «Я – русский паук – прицепился к хвосту орла-Гомера, взлетел с ним на его высокий утес и там, в недоступной трещине, соткал для себя уютную паутину. Могу похвастать, что этот совестливый, долговременный и тяжелый труд совершен был с полным самоотвержением, чисто для одной прелести труда...»

Поэту было неприятно, что то произведение, которое он называл лучшим произведением своим, читатели приняли с равнодушием. По этому поводу он писал Нащокину:

«Я узнал по опыту, что можно любить поэзию, не заботясь ни о какой известности, ни даже об участии тех, чье одобрение дорого. Они имеют большую прелесть; но сладость поэтического создания – сама собою награда...»

Среди треволнений заграничной жизни, среди приступов, недомоганий и переживаний за болевшую жену у Жуковского бывали и радостные события: рождение дочери (1842 год) и сына (1845 год) повергло в умиленное состояние отца, видевшего в этом особенный дар неба. Почти с первых дней жизни детей любящий отец задумывается над вопросами воспитания своего потомства и уже как бывалый и умелый педагог придумывает для него разные занятия и старается облегчить усвоение тех сведений, которые намерен сообщить, придавая им наиболее простые и удобные формы. Занятия, разговоры и игра с детьми были одним из тех светлых лучей, которые освещали последние годы поэта. Но на благодушного Жуковского надвигались и печали. Целый ряд лиц, которых он любил и еще так недавно знал здоровыми и сильными, перешел в «лучший мир». Умерла дочь Воейковой Катя, умерла во цвете молодости великая княгиня Александра Николаевна, которой он только что посвятил «Наля и Дамаянти»; скончались Тургенев и Елагин. Светло-грустное чувство, с которым он прежде провожал в «тот мир» дорогих его сердцу людей и которое подсказало ему стихи:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим присутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет!
А с благодарностию: были!

Это чувство порою начинало приобретать более печальный и даже мрачный оттенок. Может быть, сознание, что он, постоянно недомогая и будучи уже старым, скоро и сам дойдет до конца жизненной дороги, придавало особенно печальный тон его размышлениям о жизни и смерти, хотя и прежнее воззрение на смерть как на переход в «лучший мир» не всегда его покидало...

«Вчера получил ваше письмо, – пишет Жуковский Елагиной по поводу смерти Кати Воейковой, – оно наполнило душу умилением и перенесло на минуту в святое место, где ей представилось лучшее, что на земле совершается: расставание чистой души с здешнею жизнью. Милая Катя! Итак, она теперь с своею матерью! А вам Бог даровал снарядить ее в эту благословенную дорогу. Бывало, она в вашей семье веселилась, как ребенок; теперь, окруженная теми же товарищами веселых

часов, перешла с ребяческой ясностью в лучшую жизнь...»

В таком состоянии, когда жизнерадостность прошла и жизнь уже начинает казаться тяжелым бременем, естественно прибегать к религии. Жуковский с детства был религиозен, и живая вера в Промысл никогда его не покидала. Но при тех условиях и в том обществе, в которых он жил за границей, у него эта религиозность переходила уже в мистицизм. Он стал верить в таинственное, в привидения и даже рассказывает о призраке, виденном им с женою в здании Дюссельдорфской академии. И общество Рейтернов, и довольно частые свидания с Гоголем, удрученным в это время своей меланхолией, – все действовало в одном направлении на уставшую душу поэта. В такие периоды муза дарит Жуковского произведениями религиозного характера и выбирала из кипучего источника европейской поэзии лишь соответствовавший удрученному состоянию души материал. Так, в это время написана повесть «Капитан Бопп», где юнга-мальчик спасает грубого и жестокого капитана от нравственной гибели, читая ему Евангелие и обращая в молитве ко Христу.

Интересна еще повесть «Выбор креста», взятая из Шамиссо и как бы представляющая ответ на жалобы о «тяжести креста», доставшегося самому Жуковскому. Содержание ее такое. Заснувший усталый странник жалуется перед Богом, что крест, который он несет, слишком тяжел для него, но вот он видит перед собой массу крестов различной величины, и ему слышится голос:

Перед тобою все кресты земные
Здесь собраны; какой ты сам из них
Захочешь взять, тот и возьми!

Путник перебирает кресты; но все они тяжелы; наконец он берет простой, незамеченный раньше крест – и этот как раз ему пришелся. Странник сказал: «Господи, позволь мне взять этот крест!» – и взял его, но это оказался тот самый крест, который он и раньше нес.

Скоро для Жуковского в его заграничной жизни прибавились новые неприятности. Подошел 1848 год, а с ним и волнения, прошедшие бурным вихрем по всей Германии. Старый, привыкший к покою и *far niente*, выросший далеко от политических бурь поэт, близкий друг царского семейства, конечно, не мог не только одобрить, но даже и понять тех «неистовств черни буйной», которые пришлось ему видеть на Западе. И тут

снова перед ним встает в воображении «Святая Русь», где шло, казалось, все мирно и гладко, где народ – добрый и искони приверженный к основам. Конечно, буйный Запад при сравнении со «святой родиной» во всех отношениях никуда не годился.

Поздравляя великого князя Константина Николаевича в 1848 году с женитьбою, Жуковский пишет:

«И теперь вместо того, чтоб радоваться вместе с русским народом новому семейному счастью в доме царском, я должен скучать на чуже, окруженный безумными смутами, которых хорошая сторона для меня та, что они живее убедят всех русских в том, какое великое сокровище заключается в этом историческом, патриархальном, сыновнем подданстве царю, которое из великого царства делает одно великое семейство. Теперь более, нежели когда-нибудь, подымается душа моя при мысли о том, что такое наша Россия, наша святая Русь, какая перед нею лежит дорога и к чему она дойти предназначена...»

В письме к князю Вяземскому, приславшему Жуковскому свое стихотворение «Святая Русь», поэт сообщает:

«На беду мою надобно еще слышать и слушать вой этого всемирного вихря, составленного из разных бесчисленных криков человеческого безумия, – вихря, который грозит все поставить вверх дном. Какой тифус взбесил все народы и какой паралич сбил с ног все правительства! Никакой человеческий ум не мог бы признать возможным того, что случилось и что в несколько дней с такою демоническою, неборимою силою опрокинуло созданное веками...». «Твои стихи, – пишет он дальше, – поэтический крик души, производят очаровательное действие в присутствии чудовищных происшествий нашего времени. Святая Русь – какое глубокое значение получает это слово теперь, когда видишь, как все кругом нас валится... Святое утрачено; крепкий цемент, соединявший так твердо камни векового здания, по плану Промысла построенного, исчез мало-помалу, уничтоженный едкою деятельностью ума человеческого. Что воздвигается и может ли что воздвигнуться на этой груде развалин, мы знать и предвидеть не можем. Между тем наша звезда, Святая Русь, сияет высоко, сияет в стороне...». «Оглянувшись на запад теперешней

Европы, что увидим? Дерзкое непризнание участия Всевышней Власти в делах человеческих выражается во всем, что теперь происходит на собраниях народных. Эгоизм и материальность царствуют. Чего тут ждать живого?»

Так брюзжал старик Жуковский на «новые веяния» и безумства, принужденный благодаря этим волнениям переезжать из города в город.

Жена Жуковского страдала сильнейшим нервным расстройством, и это доставляло много горьких минут поэту и усугубляло его собственные страдания. Болезнь супруги Жуковского усиливала ее мистическое настроение и заставляла отдаваться с глубокой вдумчивостью религиозным вопросам. Но задуманный ею переход в католичество вынудил мужа энергично восстать против такого намерения. Как известно, Елизавета Алексеевна приняла впоследствии православие.

Собравшись в 1848 году в Россию, Жуковский должен был, ввиду свирепствовавшей там холеры, опять остаться в Германии. Юбилей пятидесятилетней литературной деятельности Жуковского был отпразднован на родине 29 января 1849 года без виновника торжества, в присутствии цесаревича, в квартире князя Вяземского.

«Романтизм» не покидал Жуковского и в эти последние годы. В его письмах, как и в произведениях, всегда звучат отголоски чего-то таинственного, высокого и необыденного. После венгерской кампании, так усилившей престиж России в Европе, поэт в письме к великому князю Константину Николаевичу высказывает мысль, что настало время, когда Россия могла бы разом сделать то, чего не сделали все крестовые походы, – спасти Иерусалим от власти турок.

«Оставайся Сирия и с нею Палестина во власти турок, – говорит поэт, – но место, где совершилось спасение человечества, – место, освященное земною жизнью и искупительною смертью Спасителя, не должно оставаться во власти врагов его. По всем сердцам ударит молния вдохновения и восторга, когда наш великий царь скажет в совете царей: „Отдадим Богу Божие! Святой Гроб Спасителя и Святой Град, его заключающий, должны принадлежать не России, Англии и проч., и не туркам, а Богу-Спасителю...“

В 1848 году Жуковские, поехав в Ганау, чтоб посоветоваться с доктором Коппом, должны были сейчас же уехать оттуда обратно во

Франкфурт, потому что в Ганау царствовала анархия «во всей своей неопрятности», как выражается поэт. От испуга Елизавета Алексеевна опять слегла в постель... Нервные страдания ее были ужасны.

«Расстройство нервическое, – писал Василий Андреевич еще раньше к Зейдлицу, – это чудовище, которого нет ужаснее, впилося в мою жену всеми своими когтями, грызет ее тело и еще более грызет ее душу. Эта моральная, несносная, все губящая нравственная грусть вытесняет из ее головы все ее прежние мысли и из ее сердца – все прежние чувства, так что она никакой нравственной опоры найти не может ни в чем и чувствует себя всеми покинутой...»

Здоровье и самого поэта ухудшалось, в особенности было для него печально то, что глаза болели и отказывались служить. Изобретательный больной придумал машинку, при помощи которой, с грехом пополам, однако, мог еще писать. Оторванный от родины и угнетенный болезнью, он не перестает следить за русской литературой из своего «далека». В 1851 году поэт пишет Плетневу:

«Благодарю вас за доставление стихов Майкова. Я прочитал их с величайшим удовольствием. Майков имеет истинный поэтический талант... Дай Бог ему приобрести взгляд на жизнь с высокой точки и избежать того эпикуреизма, который заразил поэтов и осквернил поэзию нашего времени... Не знаете ли чего о Гоголе? Он для меня пропал. Говорят, что он кончил вторую часть „Мертвых душ“ и что это – чудесно хорошо. Если будет напечатано, пришлите немедленно...»

Мысль о переезде в Россию не покидала поэта и высказывалась в задушевных словах во многих письмах. Он непременно хотел быть в Москве, на родине, к дню празднования двадцатипятилетия царствования императора Николая I, к августу 1851 года. Но этому намерению не суждено было осуществиться, хотя он и писал друзьям об устройстве помещения для семьи. Из этой переписки мы узнаем, что Жуковский собирался приехать в Россию с большим штатом прислуги. Кстати укажем здесь, что поэт за границей вел жизнь довольно широкую, на что у него, конечно, хватало средств, в изобилии предоставленных ему за услуги, оказанные царскому дому.

К последнему году жизни поэта относится его стихотворение про царскосельского лебедя, который представлялся ему символом его собственного положения:

Лебедь благородный дней Екатерины
Пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый,
А когда допел он, – на небо взглянувши
И крылами сильно дряхлыми взмахнувши,
К небу, как во время оное бывало,
Он с земли рванулся... и его не стало
В высоте... И навзничь с высоты упал он,
И прекрасен мертвый на хребте лежал он,
Широко раскинув крылья, как летящий,
В небеса вперяя взор, уж не горящий...

Лебедь-поэт допевал свои последние песни. За время жизни за границей помимо уже указанных произведений были написаны им повесть из «Шахнаме» «Рустем и Зораб» (переведенная с немецкого) и неоконченная поэма «Агасфер» (вечный жид), представлявшая его последнюю, лебединую, песню. Основная мысль этой поэмы, внушенная Жуковскому главным образом событиями последних лет жизни, та, что страдания приводят человека к высшему благу на земле – к вере, которая и спасает погибающих.

Наступила весна 1851 года, последняя в жизни Жуковского. Он стал готовиться, как мы упомянули ранее, к окончательному переезду в Россию и торопился, но опять заболел воспалением глаз, засадившим его в комнаты на целые десять месяцев. 19 марта 1852 года он писал своему другу Зейдлицу: «Перспектива завестись собственным домом в Дерпте меня веселит», а уже 12 апреля его «домом» стал гроб.

В феврале 1852 года Жуковский, живший в Баден-Бадене, приглашал к себе священника из Штутгарта, но затем отложил приезд его до апреля. Он только что сетовал в письме к Плетневу о кончине Гоголя, а смерть подкрадывалась уже и к нему самому.

Священник приехал 7 апреля. Решили причастить больного 9 апреля. Печальные слова срывались с уст Жуковского в преддверии этой страшной тайны – смерти. Перед концом всякий невольно оглядывается на пройденную жизнь и с ужасом замечает, как она бесплодно и страдальчески пережита... И многие уста произносят искренно знаменитое восклицание

Соломона: «Суета сует!»

– Жизнь, все – жизнь, исполненная пустоты! – говорил больной.

Он с умилением обратился к причастившимся детям:

– Дети мои, дети! Ваш Бог был с вами. Он Сам пришел к нам! Он в нас теперь. Радуйтесь, мои милые!

Когда на другой день священник уезжал, поэт говорил:

– Вы – на пути; какое счастье идти куда захочешь, ехать куда надо! Не умеешь ценить этого счастья, когда оно есть; понимаешь его только тогда, когда нет его!

Затем он перешел к детям, к занятиям с ними:

– Вообразите, – сказал больной, – они плакали, когда я рассказывал им последнюю вечерю Христа, его Гефсиманскую молитву!

Хотя он и домашние, кажется, не считали кончины его близкой, но на другой день, к вечеру, Жуковский впал в забытие; порою он узнавал своих, позвал дочку и сказал:

– Поди, скажи матери: я теперь нахожусь в ковчеге и высылаю первого голубя – это моя вера, другой голубь мой – это терпение!

Ночью он умер. Тело его перевезли в Петербург и похоронили в Александро-Невской лавре рядом с Карамзиным. Воспитанник провожал прах своего наставника на место «последнего упокоения».

Но со смертью таких людей, как Жуковский, не все погибает: они оставляют после себя кое-что бессмертное и нетленное...

Глава VII. Значение Жуковского как поэта

Бурное время. – Возбужденные и разбитые надежды. – Искание новых начал. – Старая литературная школа: псевдоклассицизм. – Элементы, из которых создан романтизм. – Скучность и несамостоятельность нашей литературы. – Поэзия Жуковского, помимо субъективных, вызвана и историческими причинами. – Односторонность его заимствований у Запада. – Указание на вред меланхолии и мистицизма. – Оригинальный характер поэтической деятельности Жуковского. – Афоризм о пауке и пчеле. – Знаменитые переводы. – «Вечная красота». – Отсутствие общественного содержания в поэзии Жуковского. – Несогласованность ее с действительностью. – Благотворность поэзии Жуковского. – Новое содержание и форма. – Освобождение языка от архаизмов. – Простота и красота речи Жуковского. – Отзыв Белинского

Бурное время переживала Европа в конце минувшего и начале нынешнего столетия. Особенно возбужденное состояние умов, характеризующее эту эпоху, представляло результат как известных экономических условий, становившихся все более и более невыносимыми для масс, так и предшествовавших политических, религиозных и литературных движений. Смелые и широкие философские обобщения, реалистические воззрения энциклопедистов, социальные и политические учения мыслителей, разливаясь широкими потоками в массах, являлись могучими стимулами для более критического отношения к жизни... Кипучий поток идей, возбужденных Кантом, Руссо, Монтескье, Вольтером, энциклопедистами, Гете, Шиллером и еще многими и многими гигантами мысли и сильных чувств, произвел помимо умственного переворота и политические и экономические волнения, которыми полна указанная эпоха. В вихре этого потока раздались грома французской революции, распространившей по всей Европе «освободительные» идеи и в свою очередь закончившейся военной диктатурой и реставрацией. Эти «освободительные» идеи, дав толчок умственным движениям в европейских государствах, возбудили всеобщие надежды на счастье, на «мир и в человецех благоволение», на возможность врачевания тех глубоких ран, которые терзали общество.

Но – увы! – радужные надежды, возлагавшиеся на революцию, на

провозглашенные ею «права человека», не оправдались и задохнулись под гнетом реакции. Неудовлетворенные и измученные умы, не получив желаемого в области действительного, создавали культ мистического и фантастического: страну вымыслов, где возможно было всякое построение событий и осуществление всяких надежд. Жизнь была скучной прозой, разбившей светлые иллюзии вольного человеческого духа, и оскорбленный дух отдавался абстрактностям, уносился к преданиям давно минувшего, где искал осуществления идеалов. Человеческая справедливость оказалась гнусной, и мысль обращалась к божественной справедливости. Свиристествовавшая реакция и не осуществившиеся, несмотря на блаженные упования, надежды порождали индифферентизм к жизни действительной, возбуждали меланхолическую тоску по минувшим утратам и по небесной отчизне; в поэзии и литературе обнаружилось чрезмерное проявление внутренних, лирических порывов тосковавшей души. Но все-таки не везде еще угасла вера в торжество только что разбитых идеалов: литература обращалась и к ним, пользуясь, однако, уже новыми формами.

Не нужно забывать и того, что старая литературная школа, так называемый псевдоклассицизм, уже не устраивала своей сухостью и педантизмом, своими «тремя единствами», своими напыщенными и далекими от бившей в глаза действительности героями. Эта литературная форма, где все было так высокопарно, где героями не могли являться представители «подлых» сословий, а лишь лица высокого происхождения и ранга, создавалась и расцвела при дворах королей, в особенности при «короле-солнце» Людовике XIV; она была экзотическим цветком и удовлетворяла вкусам немногих, являясь для жившей заботами дня массы неудобоваримой. И новое литературное движение, служа более широкому кругу лиц и в гораздо большей степени отвечая интересам простых людей, сменило аристократический псевдоклассицизм.

Из таких-то элементов создалось в Европе то широкое литературное движение, отражавшее жизнь и в свою очередь само влиявшее на нее, которое преимущественно известно под именем «романтизм».

В описываемую эпоху мы, являясь народом еще малопросвещенным, почти не имели самостоятельной литературы и тащились в хвосте европейских литературных движений, часто копируя их у себя без всякого толку. До Жуковского у нас царил псевдоклассицизм, при котором новшеством явилось сентиментальное направление Карамзина. Жуковский пересадила к нам романтизм, усвоив преимущественно одну его сторону: мистику, меланхолию, покорность высшим силам и туманную мысль о тщете земного, причем он выбирал из переводимых им романтических

произведений лишь то, что наиболее подходило к его мягкой натуре, привычкам и свойствам ума.

Обыкновенно указывают на личный характер поэзии Жуковского, являющейся изображением его собственных настроений и ощущений; ссылаются на его изречение: «Жизнь и поэзия – одно». Нет никакого сомнения, что жизнь Жуковского, как и всякого другого поэта, – но только в большей степени, – отражалась в его поэтической деятельности. Это, как мы знаем, было, в частности, обстоятельством несчастной любви, при которой родство играло роль трагического разрушителя счастья. Многие стихотворения Жуковского обязаны этому чувству, являясь его поэтическими переживаниями. Мы знаем, кроме того, что помимо несчастной любви все воспитание Жуковского, все его связи при врожденной мягкости характера способствовали тому, что он из всего богатства знакомых ему литератур: английской, французской и немецкой – выбирает только наиболее отвечающие своим настроениям меланхолические темы и, чтобы заострить их, даже меняет в своих переводах оригиналы. В заимствованиях Жуковского из «океана романтизма» нет ни могучих аккордов, призывающих к борьбе за право человека на счастье, ни сатирического отношения к status quo, ни глубокой мысли, анализирующей прошедшее и настоящее и грозно вопрошающей будущее... Вся эта поэзия как будто напоминает ту нежную «Эолову арфу», о которой писал Жуковский: она издает под набежавшим порывом вдохновения, как арфа при дуновении ветра, лишь нежные меланхолические звуки.

На эту односторонность поэзии Жуковского и даже на вред, приносимый ею обществу, более нуждавшемуся в разрешении существенных «земных» задач, нежели в неопределенных стремлениях к небесному, указывали давно уже современные поэту критики, принадлежавшие к писателям «боевого» сорта. Так, Рылеев в письме к Пушкину, отдавая должное Жуковскому за его литературные заслуги, говорит:

«К несчастью, влияние его на дух нашей словесности было слишком пагубно: мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность, которые в нем иногда даже прелестны, растлили многих и много зла наделали!..»

Действительно, в век Аракчеева, Магницкого, Голицына и tutti quanti^[9]

поэзия смирения, отрешенности от жизни, где так страдали, должна была казаться представителям более активной литературы вредным занятием.

Об односторонности и недостаточности заимствований Жуковского из «океана романтизма» Полевой выражался так:

«Не должно полагать, чтобы Жуковский глубоко проникал тогда в сущность германской и английской поэзии. Он сам признается, что „Гамлета“ почитает чудовищным, уродливым произведением... Также не мог он постигнуть глубины Гете и даже вдохновителя и любимца своего Шиллера».

«...Ни Жуковский, и никто из товарищей и последователей его не подозревали, что они пустились в океан беспредельный... Оптический обман представлял им берега вблизи. Срывая ветки в безмерном саду Гете и Шиллера, они думали, что переносят в русскую поэзию целый сад этот...»

Но было бы все-таки несправедливо смотреть на всю поэзию Жуковского как на субъективную. Она имела несомненно и историческое происхождение и значение как протест против устаревшего псевдоклассицизма, который в России опирался на слишком незначительные таланты и произведения и достаточно надоел. Новая струя, проявившаяся как в содержании, так и в форме творений Жуковского, вполне отвечала назревшим общественным ожиданиям литературы более живой и интересной. Расширяя формальные понятия о поэзии, отводя для нее более значительное место, новая струя эта внесла в содержание русского стихотворства до тех пор малоизвестный мир ощущений внутренних, лиризм душевных движений. Искреннее чувство, высказывавшееся в меланхолических строфах поэта, звучавшая в них человечность, – все это не могло не привлекать к такой поэзии людей в то время, когда царили «железные» нравы и суровые порядки. Все это в стихах поэта, выражаясь с подкупающей искренностью, являлось в прекрасной художественной форме... Вместе с разнообразием рисовавшихся поэтом картин, к которому русские читатели в прошлом не привыкли, эта задушевность производила на современников чарующее впечатление. Отголоски этого восторга мы видим даже у Белинского, вообще не особенно снисходительного к Жуковскому.

Влияние новой поэзии, которой Жуковский являлся пророком и первым провозвестником, было во многих отношениях благотворно. Не

забудем, что Жуковский хотел сделать поэзию высшим руководящим принципом в жизни. «Поэзия есть добродетель», – говорил он; «поэзия есть Бог в святых мечтах земли», – несколько туманно в другом месте («Комознс») указывает поэт. Он проповедовал, – правда, в общих и часто неопределенных выражениях – любовь к истине и добру и внушал мягкое отношение к людям. Такие черты музыки Жуковского должны быть поставлены в крупный «актив» поэту.

Вместе с тем характер поэтической деятельности Жуковского, создавший ему славу, настолько оригинален, что другой такой пример едва ли еще найдется в русской литературе. Жуковский был почти исключительно переводчиком, переделывателем и приспособителем – применительно к характеру своих воззрений на жизнь и поэзию – иностранных произведений. У него сравнительно мало оригинальных вещей, и они не принадлежат к числу лучших. Многие из них имеют совсем особенный характер: это, во-первых, стихи, писанные к особам царской фамилии и на случаи разных придворных событий, и, во-вторых, дружеские послания, на которые тогда была большая мода, и «альбомные» стихи. Но был бы несправедлив тот, кто на основании вышеуказанного обстоятельства вздумал бы уменьшать поэтические заслуги Жуковского. В этом, отношении уместно привести известный афоризм о пауке, который «из себя» тянет гадкую паутину, и пчеле, собирающей с цветов, «вне себя», душистый и сладкий мед. Эти переводы и подражания Жуковского, по своему замечательному мастерству, по поэтической красоте их, до сих пор еще не увядшей, но положительно приводившей в восторг современников и сразу поставившей автора в разряд первых знаменитостей своего времени, – справедливо могут считаться оригиналами. Перевести стихотворение – да еще так, как переводил Жуковский, придавая особые поэтические оттенки переводимому, – это почти самостоятельный творческий труд.

Не будем приводить многих доказательств прелестей переводов Жуковского, это всем известно, и мы раньше уже указывали на некоторые из них. Здесь упомянем хотя бы о чудных стихах «Жалобы Цереры» и о знаменитом «Торжестве победителей» Шиллера, приводивших в такой восторг Белинского. Какой красотой веет от этих строк, изображающих плач пленниц-тряннок:

И с победной песнью дикой
Их сливался тяжкий стон —
По тебе, святой, великий,
Невозвратный Илион!

А эти, ставшие теперь такими общеупотребительными в разговоре и литературе, строки:

Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит!

Или:

Спящий в гробе – мирно спи,
Жизнью пользуйся, живущий!

Всем давно знакомы эти пьесы Жуковского: «Ивиковы журавли», «Лесной царь», «Рыцарь Тогенбург», «Поликратов перстень», «Кубок», «Замок Смальгольм» и другие. Есть и в его произведениях, писанных на случаи из придворной жизни, прекрасные вещи; мы уже говорили о стихах на рождение царя-Освободителя – укажем еще на чудесную элегию «На кончину королевы Виртембергской».

Но зато напрасно мы стали бы искать в поэзии Жуковского общественного содержания. Поэт был далек от действительной жизни, и она очень редко отражалась в его произведениях. Кругом шумела жизнь, гремел гром и сверкали молнии, слышались крики и стоны, – но Жуковский не внимал этим звукам: он, как воркующий во время бури под уютной кровлей голубь, погрузился в мир преданий минувшего, в область фантазии и сладких звуков. Он был аристократом поэзии и не считал ее обязанной ведаться^[10] с прозой жизни. Любя спокойное созерцание «вечной красоты», что проистекало из свойств его ума и характера, он не давал в руки поэзии меча, чтобы сражаться против зол и страданий, угнетающих жизнь. Поэт Жуковского похож на поэта Пушкина. Он не «колокол вечевой во дни торжеств и бед народных», а больше жрец, служащий «нетленной красоте». Вот почему мы не должны удивляться тому, что ни Байрон, этот «сатанинский» отрицатель, ни Гейне с его насмешками над романтизмом, с его язвительными сарказмами против тех, кому Жуковский пел дифирамбы, не привлекали нашего меланхолического поэта. Да и конечно, в его придворном звании было бы совершенно неуместно служение «музе мести и печали». Затем мы уже ранее видели в письмах, относящихся к 1848 году,

как Жуковский отзывался о тех событиях, животрепещущее значение которых могло бы дать содержание многим песням более отзывчивого к «злобам дня» и могучего поэта.

При таком не только индифферентном, но даже враждебном отношении к общественному движению и борьбе, к тому, что волновало, радовало и заставляло страдать миллионы людей, трудно, конечно, было и ожидать энергических песнопений от поэта, у себя, дома, Жуковский находил все благополучным, и состояние «домашних» событий не отражалось в его поэзии. Он, например, полагал, что «Россия, оторвавшись (после 1848 года) от насильственного на нее влияния Европы... вступит в особенный, ее историей, следственно, самим Промыслом ей проложенный путь»; она составит «самобытный, великий мир, полный силы неисчерпаемой, сплоченный верою и самодержавием в одну несокрушимую, ныне вполне устроенную громаду...»

Жуковскому не пришлось дожить до Крымской войны, после которой само правительство сознало неурядицы «громады»; тогда бы он, может быть, отказался от вышеупомянутого мнения.

Ввиду перечисленных свойств поэзии Жуковского мы, конечно, тщетно стали бы искать в произведениях или даже в письмах его указаний на безобразную язву, разъедавшую его святую Русь, – крепостное право. Первое, правда, затруднено было тогдашними цензурными условиями; но мы могли бы рассчитывать на то, чтобы певец «добродетели» хотя бы в письмах уделял больше внимания этому вопросу и более ясно указывал на ужасы крепостничества.

Известную неподвижность творческой мысли Жуковского характеризует то обстоятельство, что он, живя даже за границей, в то время кипевшей идеями и событиями жизни, был глух к этим живым голосам, а сидел над своими «стариками», в данном случае над Гомером, перевод которого он считал, и едва ли основательно, подвигом своей жизни. В то время когда любимый и в начале своей карьеры покровительствуемый им Гоголь был уже родоначальником реальной русской литературы, добродушный и застывший в своем пиетизме и меланхолии Жуковский тянул по-прежнему свои старые песни.

Мы выше говорили о том, что у поэта не было чутья жизни, совершавшейся вокруг, и это иногда доходило до таких странностей, которые производили антихудожественное впечатление. В «Певце во стане русских воинов», одном из исполненных наиболее искреннего воодушевления произведений Жуковского, – герои, русские солдаты 1812 года, являются одетыми в латы, шлемы, с копьями и щитами. В одном из

изданий этого стихотворения красовался рисунок, изображавший Жуковского в казачьей куртке, с лирой, стоящим перед бородачами-товарищами, расположившимися у сторожевого огня на земле...

Итак, в чем же заключается плодотворность воздействия Жуковского на нашу литературу и значение его в поэзии? Деятельность Жуковского, несмотря на перечисленные недостатки ее, имела несомненное воспитательное влияние благодаря тем человеческим идеям и чувствам, какие высказывал поэт в своих стихотворениях и в прозе. Он расширил сферу поэзии, втеснив своим романтизмом обветшалый псевдоклассицизм. Он дал поэзии новое содержание и форму, что в высшей степени плодотворно отразилось на дальнейшем движении нашей литературы. Он освободил поэтический язык от многих архаических форм, способствовал большей простоте и красоте этого языка, чем и вызвал негодование «шишковцев», хранителей помянутых архаизмов. Его поэтическая речь впервые полилась перед читателем непринужденными, яркими и красивыми звуками. Не забудем и про то, какое значение отводил сам Пушкин в развитии своего таланта Жуковскому. «Без Жуковского мы не имели бы Пушкина», – быть может, несколько преувеличенно выражается Белинский. Во всяком случае перечисленного достаточно, чтоб поставить Жуковского в первые ряды наших литературных деятелей.

Многие переводы Жуковского надолго останутся чудными образцами поэтической речи. Правда, большая часть вещей, принадлежащих поэту, не блещет такой красотой, чтобы жить вечно в памяти потомков. Но гигантов поэзии, произведения которых переживают века, немного, и к числу их, конечно, нельзя относить Жуковского.

«Неизмерим подвиг Жуковского, – говорит Белинский, – и велико значение его в русской литературе! Его романтическая муза была для дикой степи русской поэзии элевзинскою богинею Церерою. Она дала русской поэзии душу и сердце, познакомив ее с таинством страдания, утрат, мистических откровений и полного тревоги стремления „в оный таинственный свет“, которому нет имени, нет места, но в котором юная душа чувствует свою родную, заветную сторону... Есть пора в жизни человека, когда грудь его полна тревоги и волнуется тоскливым порыванием без цели, когда горячие желания с быстротой сменяют одно другое, и сердце, желая многого, не хочет ничего; когда человек любит весь мир, стремится ко всему и не в состоянии остановиться ни на чем; когда сердце человека порывисто бьется любовью к идеалу и

гордым презрением к действительности, и юная душа, расправляя мощные крылья, радостно взвивается к светлому небу, желая забыть о существовании земного праха... Кто не мечтал, не порывался в юности к неопределенному идеалу фантастического совершенства, истины, блага и красоты, тот никогда не будет в состоянии понимать поэзию: вечно будет он влачиться низкой душой по грязи грубых потребностей тела и сухого, холодного эгоизма...»

Вот для такой-то юношеской поры отдельных людей или для целого «бродящего» молодого общества велико, по мнению Белинского, значение поэзии романтизма.

«Но Жуковский, – пишет дальше критик, – имеет кроме того великое историческое значение для русской поэзии вообще: одухотворив русскую поэзию романтическими элементами, он сделал ее доступною для общества, дал ей возможность развития...»

Девственно-чистая и целомудренная поэзия Жуковского в особенности легка для усвоения чистыми юношескими сердцами. И долго еще многие его произведения будут одними из лучших украшений предназначенных для юношества книжек.

В вышеприведенных строках Белинского прекрасно очерчено значение поэзии нашего романтика для нравственного развития общества: роняя в душу в описанную выше пору ее становления благородные и чистые семена, эта поэзия является сеятелем «разумного, доброго и вечного...»

ИСТОЧНИКИ

1. «В.А. Жуковский и его произведения» П. Загарина.
 2. «Жизнь и поэзия Жуковского» К.К. Зейдлица.
 3. «О жизни и сочинениях В.А. Жуковского» П.А. Плетнева.
 4. «Характеристики литературных мнений от 20-х до 50-х годов» А.Н. Пытина.
 5. «Собрание сочинений В. Жуковского».
 6. «Сочинения В. Белинского» и другие.
- Кроме вышеуказанных книг приходилось заимствовать сведения о

жизни поэта из «Записок» Смирновой («Северный вестник»), «Дневника» Никитенко и из исторических журналов последнего времени.

notes

Примечания

1

на горе, высоко, вверху, в вышине, в выси (*Словарь В. Даля*).

2

великолепно (фр.).

«Девственница» (фр.).

4

рабы

5

в дополнение (фр.).

6

Это богохульство (фр.).

Скупщик мяса и рыбы для розничной распродажи; гуртовщик, торговец скотом; перекупщик, кулак (Словарь В. Даля), А.В. Кольцов родился в семье прасола.

8

сладостное безделье, отрадный досуг (ит.).

и им подобных (ит.).

знаться, делаться, разделяться (Словарь В. Даля).